

Через пять месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Выигрыш сражения не означает победу в войне, но приближает ее. Отмена комендантского часа — важный шаг в становлении нового Корка.

Да, Флоренс, комендантский час тебя не страшил. Ничто не могло сдержать твой свободолюбивый нрав. Другим везло меньше. Помню, как юношей, которых видели на улице после заката, секли до крови. Мне тоже приходилось это делать, и за это ты можешь меня ненавидеть, но я не в силах изменить прошлое. Я не оставлял на их спинах живого места. В те годы я был молод и уязвим. В молитвах часто спрашивал Бога, зачем он избрал для меня путь священника, если я только и делаю, что выполняю обязанности мясника... Свои ответы я получил.

Теперь комендантский час в прошлом, но люди не выходят после десяти. Боятся. Не могу винить их в этом.

Патрик

Через семь месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Я предполагал, что после случившегося в Корке настанут нелегкие времена, однако к происходящему оказался не готов. Мы продолжаем нести потери. Урон будет огромным. Вероятно, Корк уже никогда не станет прежним. «Мы ведь этого и добивались, верно?» — подумаешь ты, но нет, грядущие перемены не облегчат мою задачу.

Люди привыкли притворяться, что все в порядке. Не будь я священником, поверил бы им, но исповеди говорят об обратном: они напуганы и хотят определенности. Лгать — страшный грех, но я беру его на себя, вселяя в них надежду, а правда в том, что я не в силах дать им желаемое.

Владелец деревообрабатывающей фабрики — сердца Корка — сильно взволновало случившееся. Они больше не верят в стабильность Корка и сокращают бюджет. Отсутствие денег и — как следствие — рабочих мест запустит эффект домино: зажиточные горожане уедут и увезут с собой признаки современной жизни — и без того немногочисленные кафе и магазины. Все потянутся за ними. После сокращений на фабрике половина города лишится работы. Те, кому есть куда ехать, уедут. Те, кто останется, впадут в отчаяние и ужас, но им будет некуда деваться. Город окажется в особенно уязвимом положении. Если он попадет в хорошие руки, то, возможно, все наладится. Если же нет, земля ока-

жется безлюдна и пуста. И будет тьма над бездною, и Дух Божий пронесется над водою¹ — город погрузится в хаос.

Ты, как и твоя мать, веришь, что Корт — духовка Сильвии Плат, однако должен тебя расстроить, несмотря на мои усилия, вскоре дышать здесь станет еще тяжелее. Грядут непростые времена, надвигается огромная волна, и неизвестно, когда она нас накроет, но точно накроет.

У меня на руках осталось немного козырей, но они есть. Главный из них — доверие горожан ко мне. Люди слушают, когда я отдаю приказы, и я продолжу это делать. Приложу все усилия, чтобы сдержать плотину. И вот мой первый наказ: не приезжай!

Флоренс, зная о твоей тяге к справедливости и безрассудным поступкам, я прошу тебя — что бы ни случилось! — оставайся в Кембридже, получай образование, делай добро, живи на земле и храни истину².

Береги себя.

Твой Патрик

¹ Слегка измененный стих из Бытия: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

² Псалом, 36:3: «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину».

Пролог

ШОК

1

Через шестнадцать месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Тучи стущаются, жмутся друг к другу, затягивая и без того пасмурное небо. Мелкая морось бьет по машине. Лес, плотно обступивший дорогу, всеми оттенками зеленого проносится за окном. Однообразие ландшафта притупляет внимание, усыпляет. Зловещий вакуум — как в пустой бочке, как в духовке Сильвии Плат. Три слова, восемнадцать букв и сотни воспоминаний, которые до сих пор выжигают мозг, плавают в сознании, как трупы на поверхности гниющего залива. Корк — это место, точнее, предчувствие встречи с ним, делает меня слабее и одновременно сильнее — феномен, название которому я так и не придумала.

Год назад, собрав немногочисленные пожитки, я уехала из духовки прочь. Это было лучшим решением в моей жизни, мне хочется в это верить. В Кембридже среди студентов-сверстников, приехавших из обычных городов, я чувствую себя чужой, неправильной или, наоборот, чересчур правильной. Однако я всегда все схватывала на лету и умение сливаться с толпой приобрела еще в детстве — никто не знает, что со мной что-то не так. Оказавшись в Гарвардской юридической школе, я получила возможность стать кем-то новым, но стала тенью прежней себя, и в какой-то степени меня это устраивает.

В первый год обучения, пока остальные познавали радости студенческой жизни, я делала то, что у меня получается лучше всего: училась, превосходила ожидания профессоров настолько, что, порой казалось, они ненавидели меня за это. Теперь я могу сбавить обороты, но так или иначе я мечу очень высоко и верю, что в будущем благодаря полученному образованию смогу исправить мир, сделать его немного лучше. Я обещала и обязана сдержать слово. Не зря высшие силы (мне не нравится говорить «Бог» — с ним у нас напряженные отношения) оставили меня в живых, отняв у меня Сиду Арго навсегда.

За этот год не было ни дня, когда я не думала бы о нем. Сначала это были лишь мысли вроде тех, когда я пробовала десерт с цитрусовыми, а потом отодвигала от себя, вспомнив, что у Сиды на них аллергия. Но со временем мысли перетекли в образ жизни. Я живу с *ним* и за *него*. Пытаюсь его вернуть: никогда не пропускаю баскетбольные матчи и держу рядом с собой свободное место, отмечаю день рождения двадцать второго июня и выбираю в качестве десерта клюквенный пирог, работаю в благотворительном центре помощи глухим и храню томик Шекспира на прикроватном столике — никому не позволяю его трогать. Никогда не перехожу на бег и читаю «Коллекционера». Раз за разом. Раз за разом. И пусть Калибан поступает плохо, я понимаю его. Если бы только я знала, как все обернется, я тоже заперла бы Сиду в подвале и никуда не выпускала. Я вобрала бы его в себя: его душу, его сердце. Стала бы им, не раздумывая ни минуты. Но мои попытки тщетны. Он мертв, а я до сих пор цепенею, видя вдалеке рыжую макушку. Все надеюсь на что-то... Пресловутые высшие силы.

Особенно сильно я скорблю о нем вечерами, когда лежу в полумраке комнаты, которую делю с соседкой. Иногда она приглашает своего парня. Я ничего не имею против них, они мне безразличны, но, когда он обнимает и целует ее, забыв о моем присутствии, я жалею, что в общежитии нет устава,

запрещающего интимные связи на глазах у соседей. Я завидую — не тому, что у нее есть парень, а тому, что он жив, что они могут без опасения коснуться друг друга.

Как же я скучаю по нему.

Он приходит ко мне во снах. Мы болтаем часами обо всем на свете. Он счастлив. При жизни был не таким. Может, рад, что избавился от моего удушающего присутствия? Как бы там ни было, именно в такие минуты я ощущаю себя живой. Именно благодаря этим снам я не наложила на себя руки. Снам и учебе.

Юриспруденция — дело тонкое, а еще жутко скучное, но я знала, на что иду. Обучение дается мне нелегко, но я продолжаю прыгать выше головы. Не потому, что я обязана быть лучшей, но потому, что зубрежка помогает погрузиться в небытие — забыть о прошлом. Трудно читать кодекс по конституционному праву и труды древнегреческих мыслителей и при этом упиваться жалостью к себе и тем, как сложилась жизнь. В компании мертвых я провожу больше времени, чем в компании живых. Я тоже мертва. Вероятно, поэтому меня тянет к тому, что мертво, однако Корка не было в этом списке. До недавних пор.

Он умер, не дожив до рассвета, как и Сид. Я вижу в этом какой-то извращенный символизм. Говорят, он умер с моим именем на устах. Особых знаков в этом я не вижу — в этом я вижу опасность. Патрик был главой городского совета, священником церкви Святого Евстафия, преподобным, знавшим все законы и секреты. Моим отцом. Однако о последнем никто не знает, и я намерена сохранить тайну.

Новость о его смерти даже спустя время волнует меня с неутраченной силой, да так, что перехватывает дыхание, будто нечто невидимое сжимает горло, пока глаза не влажнеют. *Ну вот опять!*

Я любила его, но признала это лишь сейчас. Целый год он писал мне письма: выверенные предложения, аккуратные буквы с завитушками, ровные строчки. После его смерти я

перечитала их десятки раз, но не нашла ответов, а вопросы были такими: за что? почему все, к кому я привязываюсь, умирают? кто проклял меня? как это прекратить? как спастись от этого?

Патрик был ужасно старомоден, поэтому отвергал звонки и сообщения — признавал только письма. Раньше казалось, что в нем говорит нереализованный писатель и мучительное одиночество. Теперь же я поняла, почему он делал это: в письмах есть душа. Мне становится немного легче, когда я притрагиваюсь к ним, чувствую запах и текстуру бумаги, когда снова и снова перечитываю, представляя, как он писал их у камина. Сгусток в оранжевом мареве. Вряд ли сообщения произвели бы такое же впечатление. Патрик был предусмотрительным, пожалуй, даже чересчур.

Я никогда не называла его отцом, а себя — его дочерью, боялась, что письма попадут в плохие руки — в Корке осмотрительность не бывает лишней, — но я жалею об этом. В английском существует множество простых слов: дорога, машина, дерево, стол, стул. «Папа» в их число не входит — оно острое, как бритва, и тяжелое, как топор. Оно убьет меня, если я произнесу его. Оно убивает меня, когда я думаю о Патрике.

Да, у нас было мало времени, но он успел стать моим... папой.

Как же я жалею, что не сказала ему об этом.

Сейчас его гроб засыпают влажной после дождя землей. Они похоронят его без меня — я узнала слишком поздно, чтобы приехать вовремя. Может, оно и к лучшему. Я хочу запомнить его здоровым, красивым, любящим. Живым. Патрик просил, чтобы я не приезжала, держалась от Корка подальше, однако пренебречь этой возможностью я не могу — желание попрощаться с ним слишком велико.

Мне это нужно.

Думаю, ему тоже.

2

Церкви Святого Евстафия не знакомо такое понятие, как время, для нее оно остановилось, а может, и повернулось вспять. Бело-серое здание с витражными окнами выглядит так же, как и в день, когда я увидела его впервые, только деревянный крест на верхушке треугольной крыши будто бы стал больше. Вероятно, я сошла с ума, но, клянусь, он смотрит на меня — взгляд его далеко не дружелюбен.

Сердце церкви, каким я всегда считала Патрика, больше не бьется, но ей нет до этого дела. Она стоит как ни в чем не бывало, с вызовом спрашивая: «И что ты мне сделаешь?» В самом деле ничего.

Церковь привязывает к себе, гипнотизирует, как заклинатель кобру, желая управлять и повелевать, дергать за ниточки, как марионетку, но я не сдамся. Смотрю на нее, как на давнего соперника, с вызовом и злобой. Ветер завывает, треплет волосы, саднит кожу, забирается под ветровку и водолазку, заставляя тело покрываться мурашками, — тоже за что-то злится на меня. Редкая морось быстро превращается в полноценный дождь. Но я не двигаюсь с места. Сид ненавидел дождь.

За что мне все это?

Прохожу по дорожке, усыпанной гравием, встаю на первую ступень. Их девять — как кругов ада у Данте. Если ад существует, на какой круг попал Патрик? На какой попаду я? Ставлю на девятый¹ — не вижу смысла мелочиться.

Запах ладана бьет в нос уже в притворе. За год я забыла, что запах может ранить. На столиках по обе стороны от двери в главный зал лежат стопки с самодельными листовками: почерк уверенный, с нажимом: «Приходите послушать Доктора. В нем наше спасение!» — складываю одну из них вчетверо

¹ Девятый круг предназначен для обманувших доверившихся: предателей родных, единомышленников и родины.

и прячу в карман. *Зачем?* Не знаю. Патрик писал мне о Докторе, но мало: он приехал в Корк около года назад, в то время когда многие бежали. Умение Доктора разбираться в людях помогло ему быстро завоевать доверие местных жителей. Патрик был не в силах признаться в этом, но они с Доктором негласно соперничали за власть. Теперь у него не осталось противников.

Если город попадет в хорошие руки...

В главном зале запах ударяет в нос еще сильнее. Тянет в висках, боль отдается в затылке. Тишина и мрак — здесь словно никогда не ступала нога человека. Через стекла едва пробивается свет, которого сегодня из-за туч и без того немного. В воздухе пляшут частички пыли. Расцвеченные витражами сводчатые потолки слегка напоминают черты лица и будто грозно сводят брови. Душат меня, как и распятие во главе алтаря. Если я не возьму себя в руки, они раздавят меня.

Может, оно и к лучшему?

Ряды скамеек похожи друг на друга, но для меня они разные. На этой скамье в последнем ряду я сидела в день похорон после стрельбы в школе Корка, мой взгляд был прикован к фотографии Сида Арго. Я помню тот день. Помню, как рыдали матери погибших и как Патрик раз за разом начинал успокоительную службу. Он говорил, что я унаследовала от него обостренное чувство справедливости, настойчивость, цвет волос и разрез глаз, но сейчас мне нужно от него лишь одно — стойкость, ведь я все еще рассыпаюсь на части, вспоминая тот день.

Третий ряд приковывает к себе невидимыми цепями — здесь я встретила Сида. Я опускаюсь на скамью, на то самое место, оборачиваюсь в глупой надежде увидеть его серо-голубые глаза. Пустота пронзает клинком. На несколько секунд я теряю способность дышать, хватаюсь за спинку скамьи перед собой, до боли сжимая ее. Дерево поскрипывает. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, позволить себе вдохнуть.

Глубокий вдох.

Все это было на самом деле.

Глубокий выдох.

И я должна принять это.

Прошло так много времени, а душа до сих пор оголена, как плоть, с которой содрали кожу. Это ненормально — скорбеть так долго.

Значит ли это, что я ненормальная?

Главный зал церкви Святого Евстафия — минное поле. Я поднимаюсь и продолжаю путь. Иду медленно, не издавая ни звука, но все равно подрываюсь на минах. Когда я достигаю алтаря, от меня ничего не остается. Ошметки души. Окровавленное сознание. Раздробленные в порошок надежды. Ни капли достоинства. Я падаю на колени перед алтарем, хотя не нуждаюсь в молитве. Делаю как Патрик. Все, что мне от него сейчас нужно, — это стойкость. Когда он молился в церкви, то делал это именно тут. Именно так. Наивно полагаю, что, прикоснувшись коленями к полу, я почувствую связь с Патриком, однако ничего не происходит. С презрением поднимаю глаза на распятие.

— Ты жалок.

— Тебя тоже наказали? — вопрос разносится эхом по залу.

Я оборачиваюсь. Внутри все болезненно натягивается, как струны гитары, и обрывается, когда я вижу его.

— Питер?

Прошел год, а схожесть этих серо-голубых глаз с глазами его брата все еще приносит мне боль. Строгий костюм и кипенно-белая рубашка превращают Пита в маленького мужчину, хотя он почти не изменился, только вытянулся.

Я встаю с колен, а он наблюдает за мной со снисходительным безразличием, но потом я понимаю: это не безразличие — это страх. Неужели я для него лишь воспоминание того времени, когда умер Сид? Едва ли я могу просить большего.

— Я Флоренс. Ты меня помнишь?

В его лице что-то меняется, трескается, как стекло при резком перепаде температур. Он хмурится, уставившись на носы запачканных туфель.

— За что тебя наказали?

— Я разбил стакан в доме преподобного. Не специально. Папа отправил меня сюда, сказал ничего не трогать.

— Это ведь не значит, что нам нельзя поговорить?

Он задумывается, но в итоге просто пожимает плечами. Я устраиваюсь на скамье в первом ряду. Он медлит, но все же садится рядом, немного дальше, чем я рассчитывала, но это меньше, чем от Кембриджа до Корка.

Не могу отвести от него взгляда. Сид.

Он не Сид!

Знаю, что не Сид, но становлюсь непривычно мнительной, ранимой, внушаемой, верящей в волшебство и магию. В венах этого мальчишки та же кровь, что текла по венам Сиды, и пусть они не похожи как две капли воды, но во мне тлеет глупый огонек надежды. Кажется, все поправимо. Стоит подождать, и Сид снова предстанет передо мной в инопланетном великолепии. Я прикрываю глаза на миг, прячусь под веками в попытке отогнать дурные мысли.

Пит замирает, подавленный, притихший, закрытый — раньше он не был таким.

— Не знаю, помнишь ли ты, когда-то я давала тебе визитку со своим номером, — голос звучит гулко в стенах пустой церкви.

Он мычит в ответ.

— Ты постеснялся позвонить, да? — губы невольно расплываются в улыбке.

— Нет, я собирался. — Он смотрит на меня, но тут же отводит взгляд. — Папа забрал. Говорит, звонки дорогие.

— Неправда. Джейн и Молли часто звонят мне.

Он едва слышно хмыкает.

— Отчего такой угрюмый?

Его личико слишком серое и печальное для мальчика двенадцати лет.

— Не очень хорошо переношу похороны.

— Как и все.

— Папа вроде нормально справляется.

— Где он?

— В доме преподобного, как и все.

— И твоя мама?

Оливия — единственный человек, которому было сложнее, чем мне, после смерти Сида. При мысли о ней сердце обливается кровью.

— Нет, мама дома.

— Ей нехорошо?

— Типа того.

— Что с ней?

— Болеет.

— Чем?

Он отвечает не сразу.

— Мне нельзя об этом говорить.

— Почему?

— Папа говорит, что нельзя.

— Мне ты можешь сказать. Я не выдам. Чем она больна?

Он опять задумывается.

— Не знаю.

— Можно ее навестить?

— Вряд ли папа разрешит.

Да что происходит? Возможно, я стала чересчур подозрительной. Если бы что-то случилось, Патрик наверняка написал бы об этом.

— Ты теперь учишься в старшей школе?

— В средней.

— Да, но здание-то одно.

— Ну да.

— Знаком с мистером Прикли?

— Он ведет у нас английский и литературу.

— Повезло.

Я улыбаюсь. Вечные споры, списки литературы, задания, требующие нестандартного подхода, сочинения на свободную тему и исписанные листы — сотни исписанных листов и презрительная «В», обведенная в кружок, — лучший учитель, что у меня когда-либо был. Не забыл ли он меня, а главное — считает ли до сих пор лучшей ученицей?

— Ну не знаю.

— Почему?

— Строгий он.

— Есть такое. Но он хороший учитель.

— Постоянно заставляет нас писать сочинения и никогда не ставит отлично. Достало!

— Он хочет, чтобы вы научились думать.

— Он говорил, что у него была ученица, которая переписывала сочинение восемь раз. Не знаешь, кто это?

— Нет. — Я прикусываю губу, чтобы не выдать себя. — Даже если отец не разрешает звонить, ты можешь писать письма. Я попрошу мистера Прикли научить тебя.

— Научить?

— Отправлять письма.

— Да умею я, — бросает он, оскалившись, как дикий звереныш, — он понятия не имеет, как это делать.

— Правда?

— Я не дурак.

— Отлично.

— Я не знаю адреса.

Я выуживаю из наружного кармана листовку про Доктора, из внутреннего — ручку. Привычка носить ее с собой не раз спасала мне жизнь. Переворачиваю листовку обратной стороной и, положив на скамью, аккуратно вывожу адрес, ощущая на себе внимательный взгляд. Закончив, прячу ручку и протягиваю лист через скамью. Пит берет ее и с интересом изучает написанное.

— И о чем писать? — с подозрением спрашивает он.

— О чем угодно. О чем сам захочешь.

Он складывает лист и сует в карман брюк.

— Я не шучу, Питер. Ты можешь писать мне, если захочешь, о чем захочешь, когда захочешь. Тебе не нужно стесняться. Со мной нет нужды скромничать.

— Я не скромничаю. Директриса Тэрн говорит, что скромности нет среди моих добродетелей. Папа тоже так думает.

— Правильно. Скромность ни к чему.

— Сид был скромным.

Это замечание кулаком становится поперек горла, но я не подаю виду. Стараюсь не подавать.

— Поэтому его все любили, — говорит он. — Ты его за это любила?

Любопытные глаза ждут ответа, но я не нахожу его.

— Ну точно не за красоту, — продолжает он.

— Почему это?

Сида не назовешь красавцем в привычном понимании слова, но он был очень милым инопланетянином. Я любила его рыжие волосы и веснушки. *Я любила его...* Сейчас об этом лучше не думать.

— Это он любил тебя за красоту. Ты красивая.

Я так и цепенею от этой до странности неловкой, но произнесенной не в шутку фразы.

— Зачем ты это говоришь?

— Потому что это правда. Я пытаюсь сделать тебе комплимент.

— Комплимент.

— Ну да.

— Зачем?

Он пожимает плечами.

— Говорят, девочки любят ушами. Дурацкое выражение.

— Но справедливое.

— Ну вот.

— Ты не обязан делать мне комплименты, но спасибо.

Он угукает в ответ, а потом, сжав край скамьи, спрашивает:

— Ты надолго?

— Нет.

— Снова уедешь?

— Да, — отвечаю я и выдыхаю. И без того полая грудь становится еще более пустой.

— Тебе там нравится?

— Там?

— Не здесь.

Я не сразу нахожусь с ответом — этот на первый взгляд будничней разговор дается мне чересчур тяжело, волной поднимая воспоминания, которые я хочу забыть.

— Я учусь.

— Я не об этом спросил.

— Да, мне там нравится.

Это не совсем так, но он слишком мал, а я слишком подавлена, чтобы вдаваться в подробности.

— Так ты говоришь, все в доме преподобного?

— Да.

— Тогда, наверное, мне нужно туда сходить.

— Зачем?

— Притвориться, что мне интересны их взрослые разговоры.

Он не отвечает.

— Что будешь делать?

— Сидеть здесь.

— Никуда не пойдешь?

— Нет. Если я буду хорошо себя вести, папа отпустит меня гулять с Ленни.

— Вы с ним еще дружите?

— Он мой лучший друг.

— И ты больше не защищаешь его кулаками?

— Нет. Стараюсь не доставлять неприятностей.

— А как же Том Милитант?

— Что с ним?

— Вы дружите?

— Иногда общаемся, но он странно себя ведет. Я ему не нравлюсь.

— Неправда. Как ты можешь не нравиться?

Он сжимает руки в кулаки.

— Что ж, у тебя есть адрес, и теперь ты можешь мне писать.

Я встаю, и он подается вперед, но тут же одергивает себя, прижимаясь к спинке скамьи.

— Ты думаешь, у меня анезия? — Серо-голубые глаза смотрят снизу вверх.

— Амнезия.

— Ну да.

— С чего ты взял?

— Ты постоянно напоминаешь об одном и том же.

— Хочу, чтобы ты запомнил.

— Я хорошо запоминаю с первого раза.

Я разворачиваюсь и устремляюсь в темноту коридора. Меня не покидает стойкое чувство, что меня уделал двенадцатилетний пацан.

3

Мрак церковного коридора уже не пугает: все мины взорваны, ущерб необратим — терять больше нечего. И коридор, стены которого увешаны картинами, изображающими библейские сцены, знает это. Я дергаю за ручку — кабинет Патрика закрыт. Теперь его сердце и разум тоже будут закрыты для меня. Навсегда.

Справа висят репродукции по сюжетам Ветхого Завета, среди них «Избрание семидесяти старейшин Моисеем», «Прощание Товия с отцом» и «Исцеление Товита»; слева — по сюжетам Нового Завета. «Христос в Гефсиманском саду» Куинджи была любимой картиной Патрика. Там, в Гефсиман-

ском саду — любимом месте уединения и отдохновения, — Иисус молился об отвращении от него чаши страданий. В словах Гефсиманской молитвы содержится подтверждение того, что Христос имел божественную и человеческую волю: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»¹. В ней же выражается его трагическое одиночество. Патрик признавался, что эта картина пугала его, но в то же время дарила упокоение. Раньше я не понимала почему — сейчас понимаю.

Покидаю церковь через черный ход. Именно так утром и вечером это делал Патрик. Миную темную аллею, скрытую от глаз раскидистыми деревьями, защищающими от солнца и дождя, где мы проводили с ним не один час в разговорах и молчании. Передо мной открывается двухэтажный коттедж в готическом стиле — последнее пристанище Патрика. В прошлом этот мрачноватый дом с остроконечной крышей и всегда закрытыми шторами навевал благоговейный ужас, но жизнь научила, что внешность обманчива, — я нередко находила в нем покой. Патрик говорил, что его дом — и мой тоже, но я никогда не чувствовала этого. Я нигде не чувствую себя как дома.

Я переминаюсь с ноги на ногу у входа, прежде чем решаюсь постучать, однако дверь оказывается открытой. Во мне поднимается волна злости и негодования — дом изнемогает от чужаков. Я презираю их. Я презираю их всех. При Патрике этот дом был пещерой, таинственным лесом, убежищем, отгороженным от мира, волшебной шкатулкой, спрятавшись в которой можно перевести дух и собраться с силами. Теперь он стал городской площадью, фермерским рынком, главным залом церкви Святого Евстафия и ломится от людей, которые касаются ручек на дверях, сидят на его стульях, пьют из его стаканов и едят из его тарелок — стирают все, что у нас было: блестящие буквы на корешках книг в высоких шкафах,

¹ От Луки, 22:42.

вечерний ветерок, колышущий занавески, наши тени, дрожащие на стенах, холодный чай в фарфоровых кружках, его четкий профиль в оранжевом мареве гостиной — прошлое, которое никогда не вернуть, которое ускользает от меня, как ускользает лицо Сида Арго, — они осквернили единственную святыню, что у меня осталась.

Горожане заполонили дом: переговариваются, спуют, пьют, едят. Радости на их лицах нет, но и особой печали тоже. Патрик смотрит на всех с фотографии в черной раме, висящей над столом с закусками (не думаю, что он хотел стать одной из библейских картин). Его прекрасные изумрудные глаза полны мудрости и понимания, выражение лица спокойное и умиротворенное: он знает нечто такое, что навсегда унесет с собой в могилу, — у нас было слишком мало времени.

Кроме цвета волос и разреза глаз, мне не досталось ничего от аристократичной завораживающей красоты отца — лишь его проклятия. Патрик оставил нас с матерью ради этого города, оставил нас, чтобы спасти его. Только горожане об этом не знают и не в силах по достоинству оценить его жертву.

Лица присутствующих так или иначе мне знакомы, однако некоторые знакомее остальных. Прикли отрастил бороду, из-за нее выглядит другим человеком, но я сразу узнаю его по отстраненно усталому выражению пронзительных карих глаз — глаза из другого мира, я тоже в нем была — они погубят его. Его что-то гложет, но не смерть Патрика. Потускневший, черно-белый, как персонаж старого фильма, меланхоличный, как герой картины, что навеки идет в темноту, вжав шею в плечи. В темно-каштановых волосах без труда просматривается седина. Жаль, что он их остриг. Длинные волосы придавали ему бунтарский вид, а ведь таким он и был — бунтарем. Корт убивает яркие признаки индивидуальности. Да, я могла бы тайно увлечься им, будь он моложе.

Уголки рта сами по себе поднимаются, когда взгляд ловит его в толпе. Прикли же остается серьезен — лицо ничего не выражает. Несколько минут он делает вид, что слушает

разговор мистера Супайна, учителя химии, и мистера Сона, школьного психолога, с которыми у него нет ничего общего, а после откланивается и подходит к столу с закусками. Я двигаюсь туда же.

В креслах — тех самых, в которых мы прошлым летом сидели с Патриком, устроились мистер Рэм и его супруга — родители Кевина — и о чем-то спорят, но слишком тихо, чтобы это можно было назвать серьезной ссорой. Интересно, как поживает Кевин? Надеюсь, он еще играет в баскетбол и случившееся в школе Корка стало для него лишь воспоминанием. Для меня не стало.

Мне нравилось бывать в этой гостиной и, устроившись в кресле, обитом гобеленом, слушать Патрика и смотреть на его профиль в тусклом свете свечи. Мне нравилось, что он красив, умен и мудр. Это заставляло поверить в то, что и я тоже. Больше этого не повторится. К глазам подкатывают слезы, к горлу — кислый комок, и вся еда на столе смешивается в пятно неопределенного цвета, фотография Патрика — тоже.

Прикли берет кувшин с малиновой жидкостью и наливает ее в стакан. Я хватаю что-то с первой попавшейся тарелки, этим чем-то оказывается кусок сыра — ненавижу сыр! — но нехотя жую его, не решаясь взглянуть на Прикли.

— Я просчитался, — признается он ровным бесцветным голосом, — верил, что моя бывшая лучшая ученица умеет читать.

Во рту неприятно горчит от сыра, но это хорошо — отвлекает от воспоминаний.

— Ты получала его письма? — Прикли ставит кувшин на место.

— Да. — Беру дольку яблока. — И, если хотите знать, читала каждое из них не единожды.

— Тогда почему ты здесь? — спрашивает он в холодном гнев, повернувшись ко мне. Давно его глаза не были так близко к моим.

— Если вы спрашиваете, то нет смысла объяснять.

— Я все знаю.

Это удивляет, но не страшит. Я доверяю ему, когда-нибудь это погубит меня.

— Он говорил вам?

— Не забывай, я был лучшим другом твоей матери.

— Она говорила вам?

— Нет, Флоренс, но я же не идиот.

Я выдыхаю, кладу обветрившуюся по краям дольку яблока в рот и долго молчу, пережевывая ее, — от кислоты ноют десны, но я не морщусь. Своеобразная игра, в которую я играю последние годы, тренируя мимику, чтобы не выдавать эмоций и чувств. Я стала в ней так хороша, что сама не понимаю собственные эмоции и чувства. За пределами Корка я просто существую, здесь же я беспокойным духом ношусь по обломкам воспоминаний. Запускаю в рот еще одну болезненно кислую дольку.

— Где мисс Блейк? — интересуюсь я.

Когда я уехала, они с Прикли начали встречаться — я так думала. Во мне теплилась надежда, что у них все получится, потому что хотелось, чтобы Прикли не было так одиноко, как Патрику, чтобы он был счастлив.

— Давай выйдем, — предлагает он и, не дожидаясь ответа, выходит в коридор. Я слеую за ним, робко уставившись на носки туфель.

Прикли хватается за ручку двери, рывком тянет на себя и пропускает меня вперед. Закрыв дверь, прижимается к ней спиной. Я прохожу в глубь террасы, вжимая шею в плечи от холода и мороси, опираюсь бедрами о перила и прячу руки в карманы. Воцаряется пугающе напряженная тишина, которая между нами с Прикли давно не повисала. (Запах лекарств и мочи, духота, смятые одеяла на потертых диванах, фигуры на доске, право первого хода принадлежит ему — белые на его стороне, но черные выигрывают. Когда-то я была способна выигрывать.)

— Согласно правилу номер двадцать шесть пункт два: учитель не может оставаться наедине с учеником вне школы, — припоминаю я в попытке разрядить обстановку — острота выходит довольно тухлой.

— Ты больше не моя ученица, а я не твой учитель. К тому же вскоре Устав со всеми правилами может вылететь в трубу, и это далеко не то событие, которого мы ждали.

— Кто придет на смену Патрику?

— Пока что это меньшая из забот.

— Что тут вообще творится?

Миссис Арго заперта в четырех стенах, и Питеру запрещено говорить о ее состоянии. Церковь Святого Евстафия заполнили листовки о Докторе, и никто не способен ему противостать — город теперь без преподобного. Вывеска «У Барри» исчезла. Двери магазинов и кафе закрыты. Прошел год, и в делах Корка я знатно отстала. Патрик скрывал от меня все — хотел удержать подальше от города.

— Неправильный вопрос, мисс Вёрстайл, — по-учительски отзывается он.

— Как долго это происходит?

Он прищелкивает языком.

— И снова неверно, Флоренс. Мне казалось, я научил тебя задавать правильные вопросы.

— У меня нет времени на ребусы. Я приехала, чтобы попроситься с Патриком и... своими воспоминаниями.

Прикли устремляет взгляд вдаль, в нем в одночасье что-то вспыхивает и сразу затухает. Это разочарование. Во мне? Он посвятил этому городу всего себя, продолжает вести борьбу, которая чуть не свела меня с ума, постоянно варится в этом котле, но не в силах его покинуть, а я сваливаюсь на него как снег на голову и говорю, что вскоре покину Корк, что меня это все не интересует. Я бы тоже злилась. Однако Прикли неправ: судьба Корка волнует меня — порой даже больше, чем мне хотелось бы, это проклятие города.

— Кто это делает? — спрашиваю я, напрягшись: русская рулетка. Неправильный ответ — и я получу пулю в висок.

Уголки рта Прикли заметно поднимаются, рука взмывает в воздух, и указательный палец победно тычет на меня.

— А вот это правильный вопрос!

Он подходит ближе и опирается на ограждение террасы, многозначительно затихает, как любил делать в классе, ожидая правильного ответа. (Скрипучие парты, лучи, пробивающиеся сквозь свинцовые облака, доска, исписанная его крупным понятным почерком: «Сочинение по «Гамлету», не менее пяти страниц», оценки, обведенные в кружок.) Я ловлю себя на мысли, что не могу отвести от него взгляда — мужественный профиль, длинные ресницы, нос с горбинкой — мечтаю, чтобы он был моим отцом. Я хотела бы быть такой же, как Прикли — стойкой, мудрой, настоящей. Я хотела бы..

— Доктор, — слово разрезает влажный воздух, точно нож плотно набитый мешок. По телу пробегает дрожь. Кто знает, что из него посыплется.

— А имя у доктора есть?

— Йенс. Йенс Гарднер.

— Йенс? Все чудесатее и чудесатее.

— Не то слово. А знаешь его значение?

Я качаю головой.

— И чему вас только учат в этих ваших гарвардах? — по-стариковски бурчит он.

Я картинно строю недовольную гримасу.

— Бог добр, — в его голосе слышится злорадное удовлетворение, будто он разгадал многовековую тайну.

— Да ну?

— Ну да.

— Это настоящее имя?

— Не знаю.

— Сколько ему?

— Чуть старше меня.

— Женат?

— Да.

— Дети?

— Нет, — отрезает он и менее уверенно добавляет: — Насколько мне известно.

— Он американец?

— Норвежец.

— Почему переехал?

Прикли пожимает плечами, облизывая сухие губы.

— Я научил тебя задавать правильные вопросы, а вот себя — получать правильные ответы пока не могу.

— Так он что, новый Реднер?

Реднер теперь не просто юноша, совершивший массовое убийство в старшей школе Корка. Реднер — синоним трудности, опасности, неминуемой беды, слово, пополнившее словаря диалектизмов Корка.

Прикли поворачивается спиной к дому, опираясь ладонями на перила. Внимательный и обеспокоенный взгляд бегаёт по деревьям вдаль.

— Реднер, — вторит он эхом, — Реднер был взбалмошным юнцом с манией величия и непомерным эго. Доктор — нечто иное.

— Что он делает?

— Приносит пользу.

Мое лицо немеет, а потом брови в недоумении сдвигаются к переносице. Я ждала чего угодно: ритуальных убийств, расчленения младенцев, продажи человеческих органов, но...

— Что?

— Он же доктор, принимает пациентов на дому — ведёт практику. Бесплатно. У него есть деньги. Много денег. Он выкупил землю возле Корка и вкладывает немалые суммы в поддержание церкви Святого Евстафия в первоизданном виде. После массовых сокращений на фабрике он пообещал, что те, кто останется, смогут работать на ферме, которую он планирует создать. Он хочет разводить скот, засеять плодородные земли и собирать урожай — не зависеть от внешнего мира.

— И это плохо, потому что...

— ... ему что-то нужно.

— Почему вы так думаете?

— Всем в этом мире что-то нужно.

— Он хочет упразднить Устав?

— Этого я не знаю. — Прикли медленно раскачивается, не отрывая рук от перил, и дерево поскрипывает от его движений. Когда он останавливается и поднимает взгляд, меня словно пронзает чем-то острым. — Думаю, он хочет создать свой.

От этого заявления холодеют и немеют пальцы на руках и ногах. Я разминаю онемевшие руки в карманах — сжимаю-разжимаю-сжимаю-разжимаю — пытаюсь вернуть кровообращение в норму. Поджимаю и пальцы на ногах.

— Ну нет, — я невольно качаю головой, — нельзя так просто разбрасываться такими обвинениями. У вас есть причины так думать?

— Исключительно мое шестое чувство.

Я принимаю его за параноика, так он думает. И в какой-то степени он прав, но я не виню его. После отъезда из Корка я полгода не покупала ни одной вещи, которая не соответствовала палитре из шести цветов, всегда смотрела на часы и в ужасе спешила в общежитие, если стрелка клонилась к десяти вечера, вздрагивала, когда кто-то случайно касался меня на улице — ждала, что придет письмо с приглашением на религиозное собрание, где меня колотили бы, пока лицо не превратилось бы в кровавое месиво. Я знаю слишком много и помню все очень живо — он знает в тысячу раз больше. У меня нет причин ему не верить.

— Нил.. — я впервые называю его по имени, отчего он вздрагивает, лишая меня на некоторое время дара речи. — Мистер Прикли..

— Нет, лучше уж Нил, — безрадостно поправляет он.

— Где мисс Блейк?

— Уехала, — в этом слове, точнее, в том, как он его произносит, чувствуется болезненный надрыв.

— Куда?

— Сказала, что в Филадельфию, но мы не общались с тех пор, так что сейчас она может быть где угодно.

— Но почему? Вы же нравились друг другу.

Щеки вспыхивают, но я не отступлюсь, потому что он не просто мой учитель — он мой друг.

— Я не мог дать ей того, что она хотела.

— Чего же она хотела?

— Многого. Прежде всего любви. Но встреча с ней помогла понять, что я не способен впустить другую женщину ни в свой дом, ни в свое сердце. Я слишком давно живу один, хотя это обстоятельство не было решающим. Она хотела ребенка, но его я тоже не мог ей дать.

Мой рот остается открытым так долго, что в него успел бы заехать товарняк.

— Я думал, что бесплодие — мое проклятие, но со временем понял, что это дар. В Корке довольно опасно иметь потомство.

— Мне жаль.

В этом весь мистер Прикли: пытается найти плюсы, скрыться за остроумием, но глубоко внутри это приносит ему боль.

— Когда я узнал об этом, то понял, что должен остаться в Корке. Думал, раз у меня не будет детей, я попробую проявить себя в чем-то ином.

— В борьбе с системой?

Он кривится.

— Это громко сказано, но... да. К несчастью, после смерти жены мой пыл заметно поубавился.

Я обращаю внимание на обручальное кольцо на его пальце — все еще носит его. После стольких лет? Носил ли он его, когда встречался с Блейк? Надеюсь, у него хватило ума этого не делать, иначе неудивительно, что она сбежала сверткая пятками.

Он ловит мой взгляд и уязвленно прячет руки в карманы. Я прочищаю горло.

— А знаете, — я позволяю себе смешок, — вы подходите на роль преподобного намного больше, чем Патрик.

— Это почему?

— Я много думала об этом... Священники — вечные сыновья. Они не имеют права становиться отцами, поэтому не взрослеют. Они обязаны соблюдать воздержание, быть сыновьями Божиими, не смея занять его место. Мы оба знаем, что Патрику это не удалось.

— Я тоже не соблюдаю воздержание, если на то пошло. По крайней мере не специально.

Я одариваю его удивленным взглядом, и только тогда до него доходит смысл сказанного — мы оба прыскаем от смеха, но быстро унимаемся. Знаем, что Корт не выносит радости и тут же карает за малейшее ее проявление.

Патрик мог иметь детей, но не хотел. Нил хочет, но не может. Судьба та еще стерва. Я и раньше это знала, ведь ко мне она редко бывает благосклонной. Если что-то плохое может случиться, то не стоит сомневаться: это случится. Внезапно разразившийся ливень, убийственная мигрень, машина из-за угла — все это я уже проходила, что выработало во мне привычку обдумывать происходящее, прислушиваться к шестому чувству и планировать наперед, чтобы никто и ничто не могло сбить с курса. И пусть это требует тяжких умственных усилий и моральных затрат, но планирование и умение слышать себя — прекрасные навыки, которые помогают не терять рассудок и быть готовой к чему угодно.

Итак, Нил считает, что доктор Гарднер опасен, хотя он не совершает ничего противозаконного. Возможно, он ошибается. Но сколько раз он ошибался до этого? Вот именно — ни разу. Чутье Прикли развито куда лучше, чем мое.

— Я вам верю, — спустя долгие минуты говорю я.

— Это не имеет никакого значения.

— Почему?

— Потому что ты уедешь. Может, мое мнение для тебя не важно, но знай, я хочу, чтобы ты уехала.

Я выпрямляюсь как струна. Я не хотела оставаться в Корке и до сих пор не хочу, но к сердцу якорем привязан долг. Долг, который когда-то повесил на себя Патрик: освободить это место. Если я ничего не сделаю, детство и жизнь Молли будут обречены.

— Я могу помочь.

— Можешь, но не станешь. — Его глаза гневно сверкают.

— Я должна.

— Флоренс, не вынуждай меня становиться противным учителем.

— Я уже не ребенок!

— Тебе не место в этом городе. Не твоим способностям и амбициям.

— А вам в нем место?

— Я сделал свой выбор, ты сделала свой — так следуй ему.

— Вы мне не указ!

— Твой отец хотел, чтобы ты уехала.

— Он мне тоже не указ!

— Этого хотел Сид!

Опомнившись, он отводит взгляд. Его лицо заливают краской.

К глазам подступают слезы, задерживаю дыхание в попытке сдержать их, а после громко выдыхаю. Нет, я не буду плакать. Не при свидетелях.

— Прости, — едва слышно произносит он, указательным пальцем подвигая очки выше на переносицу.

— Моя помощь вам не нужна, — твердым голосом заключаю я, — как мои способности и амбиции. Тогда чего вы хотите?

— Чтобы ты уехала и жила нормальной жизнью.

— Как благородно.

— Наверное, зря я на тебя это взвалил. Может быть, у меня просто разыгралось воображение. Последнее время мне не с кем поделиться. С тех пор как Патрик слег, я толком ни

с кем не говорил, кроме шахматных фигур, но они никудашные собеседники.

— Говорят, он сгорел за два дня.

— Так и было.

— Почему его не отвезли в больницу?

— О нем заботился Доктор.

— И вы говорите мне об этом только сейчас?

— Он не убивал его, если ты об этом. В те дни около Патрика находилось слишком много народу — его навещал весь город. Йенс не стал бы так рисковать. Он ничего не делал.

— Может, в этом и есть его вина?

— Я стараюсь об этом не думать.

— Но думали?

— Флоренс, — выдыхает он, — это больше не твоя борьба.

— Чья же?

— Когда долго вглядываешься в лицо зла . .

— . . . зло начинает вглядываться в тебя в ответ. Я помню.

— Тогда ты знаешь, что делать.

Карие глаза чернеют, как зеркальная гладь ночного озера — я тону в ней, до боли прикусывая нижнюю губу, чтобы почувствовать вкус крови, а не окутывающий едким туманом страх. Что бы я ни сказала, он будет стоять на своем. Он пообещал Патрику, что позаботится обо мне, точнее, о моем отъезде, если я решу вернуться. Я вижу это по глазам. Они погубят его.

— Хорошо, мистер Прикли, я услышала. — Мы будто на уроке литературы и английского, а он все еще мой учитель, и я собираюсь сдать восьмое сочинение по «Гамлету».

— Какую часть нашего разговора, мисс Вёрстайл?

— Я уеду, Нил, — уже обычным тоном обещаю я, — но перед этим сделай мне одолжение.

Он вопросительно вскидывает брови.

— Научи Питера Арго отправлять письма.

4

Очертания кладбища видны из западных окон Патрика. Интересно, часто ли он смотрел на него?

Здесь захоронены все, кто когда-либо проживал в городе, — мертвых в Корке больше, чем живых. В одной из могил покоится мой дед Уильям Мэйрон — бывший глава городского совета, перекрасивший крышу дома в фиолетовый цвет. Здесь же под толщей земли спят вечным сном ученики школы Корка, семнадцатилетние ребята, так и не начавшие жить. Несмотря на размеры кладбища, места Реднеру на нем не нашлось. Его похоронили в лесу без почестей и громких проводов. *Как сорвавшегося с цепи пса.* Заслужил ли он это? Пожалуй. Была ли я зла на него за смерть Сиды? Еще как. Но виновен ли он в том, какую шутку с ним сыграл его разум? Я долго думала над этим и решила, что нет. Я должна ненавидеть его и ненавижу, но он не сам пришел к этому — таким его сделал Корк. Он всех нас сделал грубее, злее, подозрительнее, жестче — всех, кроме Сиды Арго.

Надгробие на могиле Сиды ничем не отличается от сотни других, уходящих вдаль, как ряд солдат перед боем, который никогда не начнется. Да, оно ничем не отличается от остальных, но не для меня.

Я опускаюсь на колени. Молчу в благоговейном трепете перед *ним*. Я пролила много слез, сидя возле этого надгробия год назад, но до сих пор его имя, выбитое на мертвом камне, волной поднимает во мне чувства, которые я не способна описать. Внутри все разрастается и ширится с каждой секундой. Давит, теснит грудь. Не могу дышать, не могу плакать, не могу говорить — мне не избавиться от этого. Я буду скорбеть, пока живу.

Рука сжимает надгробие, пытаюсь удовлетворить желание прикоснуться к *нему*, однако камень холодный и влажный, а Сид был теплым, солнечным и легким — как песок на пляже, который продолжает ускользать сквозь пальцы. У меня не

осталось фотографий, поэтому, сколько бы я ни думала о нем, воспоминания медленно исчезают из памяти. Его черты тускнеют и расплываются, как рисунок, смытый волной. Я боюсь этого: забыть его, пусть воспоминания и причиняют боль.

Могилу Патрика нахожу сразу — земля еще свежая. Он там, под толщей земли, уснул, чтобы никогда не проснуться. Цветы, которые горожане принесли, прощаясь с ним, завянут так же, как и он. Его ум, мудрость и красота сгниют там, внизу. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»¹. Как бы мне хотелось, чтобы это было правдой. Покинув Корт, в надежде приблизиться к Сиду я изучала Священное Писание, ходила в церковь, преклоняла колени, пытаюсь притворяться той, кем не являюсь, но это отдаляло меня от него и от себя. С тех пор я уяснила окончательно: нет никакого рая и никакого Бога. Жертвы Патрика погибли вместе с ним. Неоцененная добродетель.

— Я без цветов. Надеюсь, ты простишь меня за это.

Морось не утихает, словно пытается сказать то, что он уже не может.

— Ты просил не возвращаться. Но как я могла? Ты же... ты был слишком умен, чтобы уйти вот так. Ты был слишком умен, поэтому не рассказал мне о Докторе? Боялся, что я примчусь обратно?

«Я люблю тебя» — три слова, десять букв, но я не могу их произнести. Не вслух. Он знает почему.

— Мисс Вёрстайл.

Этот низкий и сипловатый голос говорит многое о своем хозяине. Это зрелый мужчина, стройный и очень высокий, намного выше, чем я. Стылый. Серый. Да, он ощущается темно-серым пятном, нависающим надо мной, и, если я не обернусь, он накроет и проглотит, как песчаный вихрь.

Я поворачиваюсь и нахожу его глаза, на миг опасаясь, что застыну камнем, как от взгляда Медузы горгоны. «Приходи-

¹ От Луки, 23:43.

те послушать Доктора. В нем наше спасение». Знаю, что это он — не разумом, но чем-то неведомым внутри, что дрожит под жутковато неподвижным взглядом рептилии. Волосы Доктора вымокли под дождем, они темные, но в них заметно проглядывает седина — пряди тонкими росчерками спускаются на вытянутое лицо.

Корка льда трескается. Тело кидает в жар, когда я представляю, что именно он увидел и услышал. Лучше не думать об этом, иначе его глаза заберутся в мой мозг. Его глаза и то, что за ними. Это погубит меня.

— Мистер Гарднер.

— Значит, мы знакомы. — Его тонкие губы становятся еще тоньше, когда рот трогает улыбка. Он протягивает мне руку, я встаю с колен и пожимаю ее, сухую и холодную.

— Как давно вы приехали? — спрашивает Гарднер.

— Около часа назад.

— И уже заочно познакомились со мной? — Он закладывает руки за спину.

Говорят, люди прячут камень за пазухой или нож за спиной, но ему они не понадобятся. Он из тех, кто задушит голыми руками, а после выпьет чая. Я видела таких на записях из залов суда — чаще не на скамье подсудимых.

— С таким отточенным навыком выпытывания информации вы могли бы стать отличным журналистом.

— Или детективом.

Я поворачиваюсь к могиле Патрика, Гарднер становится рядом со мной.

— Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам¹.

— Верите, он повторит судьбу Иисуса?

— Верю, что он тоже воскреснет. В лучшем месте.

¹ От Марка, глава 16 (стихи 6—7).

Его болотные глаза скользят по строчкам на табличке, воткнутой в землю, — надгробия пока нет: «С Богом на земле и с Богом на небесах. Преподобный Патрик, глава церкви Святого Евстафия».

— Он выбрал ее сам? — спрашиваю я.

— Эпитафию? Нет. Мы не ожидали такой скоропостижной кончины — все наспех.

— Вы лечили его, верно?

— Да.

— Это легко... быть врачом и знать, что люди будут умирать, что бы вы ни делали?

— Нет.

— Не угнетает?

— Нет. Это может угнетать только в том случае, когда смерть воспринимается как зло. Я же воспринимаю ее как благо.

Нил прав, Доктор не Реднер. Реднер пылал и горел изнутри, а Доктор... холодный и далекий. Мертвый, словно недавно вылез из могилы. Вечная мерзлота.

— Что вам нужно? — спрашиваю я.

— Мне?

Я киваю. Мы можем говорить загадками и обмениваться цитатами из Заветов до скончания веков, но у меня нет на это времени.

— Полагаю, это неверный вопрос. Важнее, что нужно Корку.

— Что же ему нужно?

— Изменения.

— Разве?

— Вы жили в доме с фиолетовой крышей, не так ли, мисс Вёрстайл?

Я не отвечаю — ему это и без того известно.

— Вы жили в Корке и знаете, что здесь есть свои трудности.

— Не хватит пальцев обеих рук, чтобы их сосчитать.

— Я тоже это вижу. И хочу, чтобы вы знали, я не враг ни этому городу, ни вашей семье.

— Разве вам не все равно, что я о вас думаю?

— О нет, конечно, нет. Вы уедете, однако ваша семья останется — не переживайте об их благе.

— Как благородно, мистер Гарднер.

— Пускай это прозвучит нескромно, но да, я благородный человек. Я искренне забочусь о тех, кто мне дорог, — Корк мне дорог. Вы слеплены из того же теста и когда-нибудь вернетесь, чтобы присоединиться к нам.

По телу пробегает холодок от того, с какой уверенностью он это говорит, от того, как его стеклянные глаза смотрят на меня, — в них ничего не разглядеть — чернота пропасти.

— Присоединиться к чему?

— К раю. Я сделаю это место раем на земле. Никто не будет жить в страхе и отворачиваться от горя других. Мы будем работать сообща и станем семьей.

— Почему же люди бегут из города, если все так, как вы говорите?

— Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию¹... Черти бегут из рая.

— Чего вы хотите?

— Создать общество людей, любящих друг друга и Бога. И поверьте, когда это случится, дети не станут врывать в школу с ружьем.

— Он не был ребенком.

— Что?

— Брэндон... не был ребенком.

— Вы его знали?

— Да.

— Вы были там в тот день?

— Нет.

— Господь любит вас.

— Он здесь ни при чем.

¹ От Луки, 10:18.

— Я приехал сюда, узнав об этом чудовищном происшествии. В то время мы с женой искали место, где можно спастись от нечестивости внешнего мира. Мы жили в Филадельфии.

— Говорят, вы норвежец.

— Мы давно уехали из Осло.

— И что, вы спаслись в Корке? Не лучшее место для поиска покоя.

— Как вам, вероятно, известно, я богатый человек — деньги творят чудеса.

— А я думала, Бог.

Он усмехается, как родитель, услышав нелепую шутку ребенка. Его лицо меняется, становится невероятно красивым: «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты»¹.

— Деньги помогут мне воплотить планы, которые изменят Корт к лучшему. Я делаю это не ради денег, не так, как делали бывшие владельцы фабрики. Я сделаю Корт таким, каким мне и горожанам хочется его видеть.

— Каким же?

— Местом, свободным от алчности и наживы. Ферма, скот, засеянные поля — места работы для тех, кто останется, и источник пищи, которую получают все, кто будет работать.

— Вы не будете им платить?

— Буду. Но не деньгами. Мы станем семьей. Вы ведь не назначаете жалованье членам своей семьи за готовку обедов.

Джейн давно не готовит мне обедов, а Молли ничего не рисует.

— Пока весь мир идет вперед, вы пойдете назад.

— А кто сказал, что он идет в верном направлении? — Он склоняет голову набок и становится похожим на хищную птицу. — Учитывая образование, которое вы получаете, мисс Вёрстайл, вам как никому известно: мир погряз в алчности, зависти и наживе.

¹ Иезекииль, 28:12.

— Люди знают о ваших намерениях?

— Это не мои намерения. Не Моя воля, но Твоя да будет¹. — Он возносит глаза к небу, а потом переводит взгляд на меня. — Я никого ни к чему не принуждаю и говорю открыто и честно о том, что вижу. Люди соглашаются со мной. С Ним. И те, кто верит, останутся и создадут общину, живущую по законам Господа.

— Так вот что вы хотите — создать общину.

— Вам не нравится это слово?

— Вы упраздните Устав?

Его рот расплывается в улыбке.

— Кто знает, что будет дальше, мисс Вёрстайл? Пути Господни неисповедимы. Вам это известно так же, как было известно Патрику.

— Он жил здесь всю жизнь, но не имел решающего голоса. Почему вы думаете, что у вас получится?

— Патрик был очень хорошим человеком, но мягким. Я никогда не был мягким. Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и, если Господу будет угодно, опухоль Корка я тоже удалю.

5

Садясь в машину, я потираю руки в попытке согреться. Мне не холодно, но меня трясет, знобит, как при болезни, лоб покрывается липкой пленкой, во рту горчит. Окна и потолок салона то сужаются, то расширяются — в такт моего колотящегося сердца. *Я умею удалять опухоли, я умею удалять опухоли...* Я готова биться о руль головой, лишь бы наконец-то заплакать, избавиться от сбруи, которую сама на себя наде-ла, но это не поможет — никогда не помогает. Долго сижу, сжав руль, смотря в блеклую серость за окном — она затяги-

¹ От Луки, 22:42.

вает, и я ловлю себя на мысли сдаться, уйти, все закончить. Небытие.

По тропинке от церкви в туманном мареве идут двое: юноша и девушка. Его рыжие волосы блестят даже в пасмурную погоду, ее — развеваются на ветру. *Сид!* Я выбираюсь из салона, но они исчезают, рассеиваются в тумане, как погасшее пламя свечи. К горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает на дорогу — к счастью, я почти ничего не ела (залила в себя дешевый кофе и треть заветрившегося пончика в придорожном кафе). С минуту спазмы продолжают вхолостую.

Я возвращаюсь в машину, завожу мотор, и легкая вибрация двигателя пробегает по телу, приводя меня в чувство. Корк — город-призрак, город, полный воспоминаний, я утону в них, задохнусь под обломками, если не выберусь вовремя. Удаляясь от церкви, ощущаю облегчение и тяжесть. Связь с Сидом Арго ускользает, как бы я ни хваталась — *это так несправедливо* — она нужна мне, но она убивает меня. Я часто вижу его во снах, но он приходит все реже — реже, чем прежде. Боюсь, когда-нибудь он будет так увлечен работой в своем цирке, что забудет обо мне навсегда.

Я не могу жить без Сида Арго, но Корк может. Так же, как без Патрика, державшего город на плечах более двадцати лет. Не зря я говорила, что Корк мертв, и мертв давно — он ни по кому не скорбит, не льет слезы. Однако теперь он мертвее, чем был ранее: тускнеет, смердит, плесневеет. Вскоре, когда его внутренности обглодают насекомые, от него ничего не останется: исчезнут кафе и магазины, дворы и дома опустеют. «Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предвещает вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Воскрес? Но кто знает, во что он превратился?

Проехав призрачные пустые улицы, за которыми следят потрепанные временем дома, я глушу мотор возле дома

семьи Арго. Дом, где всегда пахло свежеприготовленной едой, где мне так нравилось гостить. Раньше он бился, словно сердце, в нем было тепло, а теперь он не отличается от остальных.

Мне требуется несколько минут, чтобы выбраться из автомобиля: восстанавливаю дыхание, наскоро жую жвачку, причесываюсь пятерней. Иду по тропинке, по которой когда-то ходил Сид Арго. Если бы только я могла повернуть все вспять. Если бы только...

Поднимаюсь на крыльцо и стучу в дверь. Тишина. Стучу настойчивее, дергаю за ручку. Я должна попасть внутрь, даже если это убьет меня. Самым бесцеремонным образом заглядываю в окна гостиной и кухни, пытаюсь их открыть — не выходит. Когда-то за этим столом мы с Оливией пили чай и молчали, понимая друг друга без слов. Мне хотелось бы сидеть с ней так снова, говоря о том, какой хорошей матерью она была. И есть. Огибаю дом в поиске возможных входов, но двери заперты, окна закрыты и плотно зашторены.

— Ты не похожа на вора.

Я оборачиваюсь и встречаюсь с круглыми глазами мальчишки, ровесника Пита, сидящего на камне на заднем дворе.

— Потому что я не он. — Делаю шаг ему навстречу. — Как тебя зовут?

— Леонард Брэдсон. Но друзья зовут меня Ленни.

Я роюсь в закусках памяти в попытке вспомнить, что знаю о нем.

— Так это из-за тебя Питу поставили фингал пару лет назад?

Он опускает глаза, почесывая светлый затылок.

— Мне его тоже поставили, — признается он, отчего розовеет до кончиков ушей. — Так это ты...

— Смотря какая «ты» тебе нужна.

— Пит иногда говорит о тебе. И о своем брате. Он скучает по нему.

— Как и я. — Проглатываю очередной ком. — Почему ты тут?

— Мы с Питом договорились встретиться, а дома никого нет.

— Питер на поминках с мистером Арго.

— Да, но он уже должен был вернуться. — Он смотрит на часы, туго обхватившие запястье, и деловито выдает: — Мне нужно возвращаться.

Я невольно усмехаюсь, он словно играет в важного человека.

— Лето. Куда спешить?

— Пока отца нет, я должен заботиться о бабушке. Она позволила мне уйти всего на час.

— Что с ней?

— Старость.

В этот миг он взрослеет лет на тридцать и, кажется, знает все на свете.

— Когда ты успел стать таким умным?

— Всегда был. Бабушка говорит, что именно поэтому меня не любят в школе.

— Твоя бабушка права. А как же секция по боксу?

— Бросил. Насилие мне не по душе.

Он сползает с камня, достает из кармана мелок, закрученный в бумажку, и рисует крестик — это знак для Питера. Какая занятная система.

— Ты пыталась влезть в дом? — спрашивает Ленни, когда мы покидаем двор Арго.

— Я искала одного человека.. Оливию, мать Пита. Не знаешь, где она?

— Я давно ее не видел. Она редко выходит.

— Почему?

— Не знаю, — говорит он и заливается краской — он не умеет лгать, но обещал Питу, что не выдаст тайну, и держит слово.

— Знаешь, Ленни, — я протягиваю ему руку, и он пожимает ее, — ты очень хороший друг.

6

Дом с фиолетовой крышей навевает воспоминания о событиях, которые я не переживала, однако воображения мне не занимать — картины маминого прошлого ярко встают перед глазами: прятки в чулане, окровавленные осколки стакана, тайные встречи с парнем, который примет сан, поцелуи украдкой, дневник, залитый слезами. Она не была счастлива в этом доме, ненавидимая и гонимая отцом. Порой я представляю, как сложилась бы наша жизнь, будь он терпимее и мягче, не будь он продуктом фабрики Корка: мы приезжали бы сюда на каникулы, купались в озере, пекли пироги и сидели вместе у камина, где дедушка читал бы мне сказки. Но все это не нужно и ни к чему — у истории нет сослагательного наклонения. К этому дому я испытываю непримиримую ненависть, но ничуть не меньшую любовь, ведь люблю тех, кто считает его своим, тех, ради кого я возвращаюсь и буду возвращаться снова и снова, пока город не уничтожит тяжестью прошлого.

Я помню день, когда мы приехали: семнадцатилетняя я с большими надеждами, непомерным эго и юношеским максимализмом, и малышка Молли, которая находила плюсы даже в пыли и паутине по углам. «Тут живут паучки», — говорила она, тыча в каждую из них пальцем.

— Фло, кто еще здесь живет?

— Не знаю, Пупс. Надеюсь, мы будем одни. Ну или по крайней мере пусть платят по счетам.

Молли легла на пол и прислушалась. Ее никогда не пугали живые существа, даже самые мерзкие. Если бы на нее забралась крыса, она приласкала бы и ее.

— Мэри Элайза Вёрстайл, а ну-ка встань с пола. — Джейн поставила на стол коробку, перетянутую скотчем со всех сторон и с пометкой «Хрупкое».

— Что, если там есть крысы? — Эта мысль вызвала у нее улыбку.

— Конечно же, есть. Это очень старый дом. Вставай! — Джейн взяла ее за руку, подняла с пола и прошлась ладонью по кофточке, убирая невидимую пыль. — Тут грязно, солнышко. Не надо так делать.

— Что-то они притихли. Им тут скучно. — Она закатила глаза, прикусив нижнюю губу, — что-то задумала. — Мама, а можно спуститься в подвал?

Я помню и другой день — день, когда убежала. Сердце щемит, когда вспоминаю личико Молли и глаза, полные слез. Она знала, что мой отъезд неизбежен, но знание и чувства — не одно и то же. Она стояла, схватившись за руку матери, наблюдая, как Роберт увозит меня в лучшую жизнь, которая ей недоступна. Пожалуй, эти воспоминания приносят больше всего боли.

Я не сразу решаюсь постучать в дверь. Прошел год, но все такое чужое. Один удар, два. В доме начинается мельтешение, и через минуту мои глаза встречаются с точно такими же, но серыми. В них читается растерянность и удивление.

— Флоренс. — Джейн вытирает и без того чистые руки о передник и затягивает меня в дом.

Я крепко прижимаюсь к ней, вдыхая запах ее темных волос, которые тронула седина. В ее объятиях я маленькая и беззащитная, такая же, какой была, когда мать ушла от нас. Даже безухий Август, трущийся о ноги, не вызывает злобы. В доме тепло и пахнет едой — как мало порой нужно для счастья.

— Ты продрогла, — она растирает мои руки, — ты вся ледяная.

Она проводит меня на кухню и наливает чая, а после заканчивает с обедом и ставит передо мной свежеприготовленное рагу, отчего я снова чувствую себя ребенком. Раньше ненавидела это — теперь люблю.

— Почему ты не сказала, что приедешь?

— Это спонтанное решение. — Не ем рагу, несмотря на аппетитный аромат, боюсь, меня будет тошнить. — Вы были у Патрика?

— Роберт пошел, а мы с Молли нет. Лето выдалось холодным, она немного приболела.

— Все нормально? Нужны лекарства?

— Уже лучше. Температура спала, скоро поправится.

Я кротко растягиваю рот в улыбке. Мне больно и стыдно за то, что я вынуждена оставлять их. И если Джейн понимает, почему я это делаю, то Молли. . . Она не может в полной мере понять меня: зачем покидаю ее, корплю над учебниками, сплю по пять часов в сутки, избегаю внимания любого, кто пытается подружиться, и пристаю с расспросами к профессорам. Ни Джейн, ни Молли не знают о жизни в Кембридже. Для них я всегда здорова и счастлива — я старательно создавала этот образ, собирала по крупицам и прорастивала семена в их сознании. Подобно пауку, я плету паутину из лжи, обматываю их — для их же блага. А правда в том, что я перечеркнула свою жизнь и молодость ради учебы, потому что это единственный способ вытащить их отсюда.

— Как Молли в целом? — спрашиваю я спустя долгие минуты.

— Молли — это Молли. Ты ее знаешь.

Сама того не желая, она приносит мне боль. Раньше я не покидала Молли: мы вместе просыпались, точнее, она будила меня с Августом, залезая под одеяло, — я вздрагивала от холода ее ног и по-стариковски бурчала, но прижимала к себе и согревала. Вместе мы чистили зубы после сказки о злобном кариесе, которую я для нее сочинила. Она требовала, чтобы я проверяла, как она почистила зубы, придумывая каждому имя, например, два передних она называла Анна и Эльза в честь персонажей «Холодного сердца». Мы завтракали вместе и выбирали, что она наденет, тоже вместе. Рисовали у камина и лепили снеговиков, засыпали под одним одеялом в грозу — она страшно ее боится — и обязательно заходили в магазин «У Барри», даже если не было денег, просто чтобы поздороваться и поболтать. Такой я помню ее. Нас. Я люблю эти воспоминания, но, как бы ни была сильна моя привязанность, сейчас

все не так. Какая Молли теперь? Что происходит в ее маленькой голове и большом сердце?

— Она любит тебя, — говорит Джейн, словно читая мои мысли, — злится, что ты не рядом, но я объясняю ей.

— Как именно?

— Что Флоренс умная, что она учится и станет великим человеком.

— Великим — очень сильное слово. А если я не оправдаю надежд?

Джейн садится напротив и накрывает мои руки своими.

— Флоренс, мы любим тебя. И прежде всего хотим, чтобы ты была счастлива. Ты счастлива?

Я не хочу лгать, но солгу, как делала всегда, — ради ее блага.

— Да.

— Я должна сказать кое-что важное, и необходимо, чтобы ты выслушала предельно внимательно. — Она тяжело выдыхает. — Ты еще молода. И пусть ты не рядом, мы знаем, что ты посвящаешь свою жизнь нам. Твоя учеба очень важна. Но я хочу, чтобы ты жила: подружилась с кем-нибудь, нашла новое хобби, читала — как раньше — не учебники, просто книги. — Она одергивает себя, чтобы не сказать «познакомилась с мальчиком». *После твоей смерти об этом никто не говорит, словно знает, что я больше никогда не смогу полюбить так сильно, как люблю тебя. Никогда не смогу полюбить.* — Понимаешь?

— Я не откажусь от своих целей.

— Если бы только я могла снять с тебя этот груз, но иного выхода не будет. Ни я, ни отец не сможем покинуть город. Мы останемся тут до конца. .

— Джейн. .

Она сжимает мою руку, заставляя замолчать.

— Но Молли не останется. У нее такой же живой ум, как у тебя, и большое сердце, которое впитывает все как губка. Я не хочу, чтобы оно впитало то, что витает в Корке. То, что

предлагает Доктор... — она качает головой. — Его уже называют мессией.

— Мессией?

— Он утверждает, что ему все послано Господом, и люди верят — у них нет выбора. Город на грани краха — бежать некуда. Все очень уязвимы.

— Что ты думаешь о нем?

Она убирает руку.

— У меня от него мурашки по коже, — признается она, и я выдыхаю от того, как точно звучит ее описание. Он хищник, присутствие которого чувствуешь каждой клеткой, каждым волоском на шее и знаешь, что вопрос, нападет ли он — не вопрос. Дело в том — когда.

— Я тоже не в восторге от его способности оставлять людей в холодном поту после совместного времяпрепровождения.

— Ты видела его? — удивляется она.

— Мы встретились на кладбище. Он сказал, что создаст рай на земле, общину, где все будут любить друг друга.

— Когда Патрик умер, Доктор собрал горожан в пристройке за церковью. Говорил, что все наладится, если мы вернемся к слову Господа, которого он слышит и ощущает.

— Корк и раньше жил по слову Господа.

— По слову Патрика, — поправляет она. — Ты считаешь меня наивной дурой, но за столько лет я кое-что уяснила.. Важно не то, что говорит Господь, а то, как мы это понимаем. А это зависит от человека, который получит власть в городе. И было бы лучше, если бы этот проводник оказался хорошим человеком.

Мы обе замолкаем, опустив глаза. Никто не решается высказать это вслух, но очевидно, что Доктор не тот проводник, который нужен.

— Знаю, это жестоко и несправедливо по отношению к тебе, но ты наша единственная надежда.

— Хочешь, чтобы я вернулась?

— Нет! — От возмущения ее лоб прошивают глубокие морщины. — Ни в коем случае. Поезжай, учись, а когда придет время, заведи Молли в тот мир. В свой мир. Дай ей то, что я не могу. Чтобы она сама определяла свою судьбу, чтобы никогда не училась в школе, где ученик стрелял в других. Пообещай, что заберешь ее!

От ее искренней и болезненной материнской мольбы к глазам подступают слезы.

— Что бы ни было.

— Что бы ни было, — шепчу я, накрывая ее руки своими. — Обещаю.

— Вот поэтому ты не рядом. Ты учишься — это твоя работа, и я безмерно уважаю ее. А моя работа — позаботиться о Молли, напоминать ей, насколько важно то, что ты делаешь.

— Фло...

От ее голоса сердце замирает. Я оборачиваюсь, сжимая спинку стула до белизны костяшек. Встречаюсь с широко раскрытыми глазами. Прошел всего год, но она так выросла. Выросла без меня — осознание этого приводит в оцепенение. Ни рук, ни ног. Полая жестянка, гонимая ветром. Молли вытянулась, раньше она едва доставала до столешницы кухонных тумбочек, а теперь возвышается на голову. Однако ее волосы все так же собраны в косы, которые когда-то заплетала ей я. Но смотрит она иначе... Я не выдумала ее — разделяющая нас пропасть реальна. Расстояние и время — два кита, отделяющие нас друг от друга. И чем больше я буду пытаться сократить эту пропасть, тем сильнее она будет расти. Боюсь, когда-нибудь она станет такой большой, что с противоположных концов мы уже не увидим друг друга. Эта мысль не раз заставляла меня просыпаться посреди ночи в холодном поту.

Как растаявшее на солнце желе, я сползаю со стула и, встав на колени, протягиваю к ней руки. Раньше она не ждала бы разрешения и сразу упала в мои объятия. Она под-

ходит — несмело, боязливо, осиротевший детеныш — и я наконец прижимаю ее к себе, так крепко, как могу, вдыхаю ее запах — травянистый, свежий, живой, точно я держу в руках лесную нимфу — и пытаюсь запечатлеть в памяти. Она пахнет иначе. Я целую ее в лоб и нехотя отстраняю от себя.

— Как ты, Пупс?

— Патрик умер.

— Знаю.

— Думаешь, он там же, где Сид?

— Я хочу в это верить.

— Ты останешься с нами?

— Хочешь, чтобы я осталась?

Она кивает, и ее щечки розовеют. Я снова прижимаю ее к себе.

— Если мама разрешит.

Мы обе обращаем взгляды на Джейн. Я перекладываю на нее ответственность, внезапно лишаясь способности решать самой. Я слишком устала. Тело без души.

— Когда обед будет съеден, юные леди, — говорит она, примеряя образ строгого родителя. Только так она может скрыть уязвимость.

Молли по-взрослому усаживает меня за стол и устраивается рядом.

— Уже все остыло, — причитает Джейн, забирая мою тарелку, — нельзя есть холодное. Особенно тебе, — она смотрит на Молли, — будешь пить молоко с медом.

— Не люблю мед, — кривится она.

— С каких это пор? — спрашиваю я.

— С тех пор как прошлой осенью кое-кого укусила пчела, — отзывается Джейн, наполняя тарелку.

Меня словно тоже кусает пчела, ведь я забыла об этом, а возможно, и не знала.

— Тебе нравится учиться? — спрашивает Молли, болтая ногами под столом. Так, будто с нашей последней встречи

прошло два дня. Мне нравится ее детская непосредственность. Мне ее недостает. Была ли она у меня когда-нибудь?

— Да, там здорово. Нам рассказывают всякие интересные вещи и дают много книг.

— А там есть красивые мальчики?

Я усмехаюсь. Мальчики? Парни? Кто это? Бесполое сознание.

— Наверное. Я не обращала внимания.

— Тебе нужен самый красивый и умный мальчик из всех.

Джейн ставит перед ней тарелку, но она не притрагивается к еде, поглощенная беседой.

— Ты с кем-нибудь там дружишь?

— Нет. В основном я сижу над книгами.

— Скука.

— Кушай, солнышко, иначе придется отправить тебя в кровать, — говорит Джейн.

Молли принимается за обед.

— И не болтай ногами, когда ешь, — добавляет Джейн.

— А у меня много друзей, — продолжает Молли, размахивая ложкой. — По вечерам мы с Питом и Ленни гуляем с Тритоном. Но он все равно какой-то толстый. В смысле Тритон, а не Ленни. Про людей так нельзя говорить, да? Иногда с нами ходит Том, но он такой молчаливый.

— Ты тоже поела бы, — говорю я Джейн, но она отмахивается.

Молли начинает канючить, выпрашивая мороженое, но Джейн стоит на своем. Я молча улыбаюсь, наблюдая за их милой и по-детски дурашливой беседой. Внутри все стягивает и ноет, ведь мне не хватает таких бесед, и пусть со временем они мне надоели бы, это лучше, чем не слышать их вовсе.

— Фло, а Бакли такой дурачок . . .

— Что за словечки? — Джейн недовольно поднимает бровь.

— Но так и есть, в прошлом году он пытался стать лучше меня в классе, а лучше меня никого нет, потому что моя сестра самая умная на свете. Он с семьей уедет этой осенью, и тогда я точно буду самой лучшей.

— Не будешь скучать? — спрашиваю я.

— По Бакли? Этому д.. — она запинается, бросая взгляд на Джейн. — Ни за что! Я даже сделаю ему прощальный подарок, лишь бы он скорее уехал.

Когда дело доходит до молока с медом, мы перебираемся в гостиную. Молли сворачивается клубком и кладет голову мне на колени — я глажу ее по волосам, — а у нее под боком устраивается Август, мурлычет, когда она проводит рукой по его шерстке. В отличие от сестры, этот дурацкий кот не изменился ни на йоту — это так несправедливо.

— Я так сильно скучала по тебе, — шепчет она. Ее дыхание щекочет мою ладонь.

— А я по тебе, Пупс.

— Мое сердце стало таким большим, когда ты вернулась.

— Мое тоже.

Я наклоняюсь и целую ее в висок.

— Оно всегда становится большим, когда я думаю о тебе, — признаюсь я.

Она поворачивается и смотрит на меня снизу вверх огромными чистыми глазами.

— Правда?

— Правда-правда.

Она закусывает губу.

— Хочешь, я покажу тебе свой последний рисунок? — предлагает она и, не дожидаясь ответа, подсказывает.

— Как только выпьешь молоко, — доносится голос Джейн с кухни.

Молли делано куксится, но все же берется за напиток. Выпивает залпом, а после вскакивает и приносит те рисунки, что нарисовала, пока меня не было. Здесь и я в шапочке выпускника, и Джейн с Робертом, и церковь Святого Евстафия с Патриком. И Доктор — стоит у алтаря, воздев руки к небу.

— Молли..

Она плюхается на диван, притягивая к себе Августа, — и тот, как игрушка, позволяет творить с собой все, что взбрет ей в голову, меня бы он и к своей миске не подпустил.

— Этот человек . . .

— Это доктор Йенс. Он хороший!

— Хороший?

— Он ходит в церковь и читает проповеди. Папа говорит, что он пытается помочь нам.

Я сглатываю. На детских рисунках он куда более страшный и жуткий — сама того не ведая, Молли раскрыла его суть: все показаны мелкими, лишь силуэтами, в то время как Доктор передан до мельчайших подробностей. Статность, высокий рост и очевидное превосходство над всеми, выражающееся в глазах, позе и даже голосе. Его голос . . . звучит в ушах под звуки тихой мороси, приземляющейся на надгробия тех, кто уже не способен ощутить дрожь в его присутствии. *Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и, если Господу будет угодно, опухоль Корка я тоже удалю. Я — часть этой опухоли. Он вырежет и меня?*

На ночлег я устраиваюсь в своей комнате. Полки и шкафы давно опустели: книги переместились на чердак, какие-то я забрала с собой. Джейн пытается найти мне что-нибудь подходящее для сна. Изучаю спальню так, словно она не была моей — она никогда и не была, здесь живут призраки прошлого. Заглядываю в ящик прикроватного столика, где покоится кольцо с зеленым демантоидом, которое когда-то принадлежало матери, — оно ранит меня. У мамы были красивые руки, тонкие пальцы, как у диснеевской принцессы . . . Помню, как грациозно она двигалась, даже просто готовя ужин, как тянулась за тарелками. Особенно сильно мне нравилось наблюдать за тем, как она красится или разговаривает по телефону. В этих будничных действиях она становилась еще красивее, а зеленый камень в кольце волшебным образом подчеркивал зелень, которая в иных обстоятельствах была едва заметна в карих глазах. Я оставила его намеренно, когда покидала

Корк, но некоторые воспоминания не уничтожить, убрав его участников с глаз долой.

— Надень его.

Оборачиваюсь. Роберт растягивает рот в слабой улыбке, но я слишком озадачена, чтобы ответить тем же. Он оставляет на кровати хлопковое платье Джейн. Отстранен, напуган, точно кормит дикого зверя.

— Давно не виделись, — говорит он, присаживаясь на край, отчего матрас под ним жалобно скрипит.

Кидаю кольцо в ящик и с силой закрываю его.

— И не общались — ты не подходишь к телефону.

— Думал, тебе так будет проще.

— Проще?

— Оставить нас.

— Я не она, — отвечаю я, и тут же жалею об этом. Это ранит его даже больше, чем меня.

— Прости, — шепчу я, устроившись на другом краю.

— Ты надолго?

— Переночую и поеду. Не хочу, чтобы Молли обижалась.

— Она в любом случае обидится.

— Знаю.

— Ты дорога ей.

— Знаю.

— Она думает, что, если будет хорошо себя вести, ты останешься . . .

— Папа! — вырывается у меня в попытке остановить его.

— Столько лет прошло, а мне до сих пор приятно это слышать, — признается он после долгой тишины. — Я знал . . . знал, что ты не моя. Луиза все рассказала, когда была беременна.

— Пожалуйста, — молю я. Его слова режут меня изнутри. Он не был нежен со мной, однако воспитывал и растил меня почти девятнадцать лет, дал мне свою фамилию, зная, что я рождена от другого. Именно он видел мои первые шаги и сле-

зы, работал, чтобы я получила образование. Это был не Патрик, а он — он мой отец.

— Но это было не важно, потому что я любил ее. И тебя люблю, хотя не умею это показывать.

— Ты делал все, что мог, чтобы это показать.

— Я знаю, что это Патрик. — Он переводит на меня мутно-голубые глаза — помню, когда-то они сияли. — И ты, очевидно, тоже, раз приехала.

— Да, уже давно.

— Насколько давно?

— Узнала в тот год, когда жила в Корке.

Он почему-то кивает, закусывая губу.

— Думал, пойду на его похороны, увижу гроб, осознаю, что он мертв, и мне полегчает, но легче не стало.

Прежде чем уйти, он неловко треплет меня по плечу — самая большая нежность с его стороны.

— Флоренс, я искренне соболезную твоей утрате.

7

Переодевшись в платье Джейн — посеревшее, но удобное, — залезаю под одеяло, не причесавшись и не почистив зубы. Ночь опускается на город, тянет ко мне лунные когти, бурей поднимая прошлое, что при свете дня я способна удерживать внутри, но не с приходом темноты — ночью силы покидают, и все, что я подавляю, вылезает наружу. Я лежу, как рыба, выброшенная на берег, не способна ни вздохнуть, ни прыгнуть в воду.

Натягиваю одеяло до самого подбородка. Лежу, уставившись в потолок, испещренный мелкими трещинками. Я часто рассматривала их, когда не могла уснуть, и представляла их картой, которая приведет меня в жизнь, где я и все те, кого я люблю, будут счастливы. Зажмуриваюсь и, притаившись в страхе спугнуть желаемое, жду, что в окно прилетит камешек и внизу будет ждать радостный и раскрасневшийся Сид

Арго. Он залезет через окно, ляжет рядом, а утром оставит записку, которая заставит улыбаться весь день. Сжимаю руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Как бы я хотела просто... не думать. Сдаться.

Вдруг дверь со скрипом приоткрывается. Я приподнимаюсь на локтях и всматриваюсь в темноту: сначала в комнату пробирается Август, а после — Молли.

— Можно лечь с тобой?

Я подвигаюсь и похлопываю по нагретому месту рядом с собой. Мы ложимся лицом к лицу, заглядывая друг другу в глаза — от нее пахнет детской пастой с клубникой. Это все еще моя Молли. Пусть и другая, но моя. Она всегда будет моей.

— Ты грустишь, — шепчет она непривычно взросло.

— Грущу.

— Из-за меня?

— Нет, Пупс, — я улыбаюсь, заправляя прядь ей за ухо, — благодаря тебе я радуюсь.

— Из-за Сида?

Я сглатываю слезы, подступающие к горлу.

— Да, наверное.

— Пит по нему скучает.

— Он говорил тебе?

— Он... носит его одежду. Даже те ужасные колючие варежки.

— Я говорила с ним в церкви. Да, он скучает.

— А я скучаю по тебе.

— И я по тебе, Молли. Ты первая, о ком я думаю каждое утро, когда просыпаюсь, и каждую ночь, когда засыпаю. Ты — все, что у меня есть.

— Но ты не можешь остаться.

— Да, Пупс. Не могу.

— Фло... пообещай, что не забудешь меня.

Внутри все холодеет.

— Я никогда не забывала тебя.

— Раньше ты звонила чаще.

— Прости, у меня много заданий. Я стараюсь хорошо учиться.

— Ты всегда хорошо училась.

— Это ради нас. Ради тебя.

— Мама тоже так говорит. Но я хочу, чтобы ты пообещала... — она ненадолго затихает, — ... всегда любить меня.

Я притягиваю ее к груди, с силой прижимаю к себе — она маленькая и теплая. Я хочу обнимать ее вечно и хочу кричать, потому что это невозможно.

— Даже если я буду очень далеко, — шепчу я ей на ухо, — даже если не буду звонить и приезжать, ты должна помнить, что я всегда — слышишь? — всегда буду любить тебя больше всех на свете.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Навсегда?

— Навсегда, Молли. Навсегда-навсегда.

Часть 1

ОТРИЦАНИЕ

*Бог есть любовь. Любить —
значит видеть в человеке частицу Бога.*

Из сочинения Леонарда Брэдсона «О любви»

Шесть лет спустя

1

Он останавливает машину и смотрит на меня, пытливые голубые глаза поблескивают в полумраке салона. Рука сжимает руль. Он волнуется? Он один из лучших адвокатов на Манхэттене, и наверняка у него было немало женщин — он должен уметь это скрывать. Стоит признать, на работе он актер без «Оскара», но, когда мы остаемся наедине вне офиса, у него не получается играть — я заставляю его волноваться.

— Я рад, что сегодня ты была со мной.

— Только сегодня? — отшучиваюсь я, лениво растягивая рот в улыбке. Превратить комплимент в шутку, снизить градус, пренебречь флиртом — единственный способ не позволять мужчинам увлекаться слишком сильно, впрочем, срывается он не всегда.

Он горько усмехается. Мелкая морось шуршит по стеклу. Ночные блестящие улицы.

— Это моя работа, — уже серьезно добавляю я.

— И только?

Я хотела бы сказать, что нет, но обещала не лгать ему, когда он принял меня — выпускницу Гарвардской юридической школы с минимальным опытом, но далеко идущими амбициями — в свою фирму младшим адвокатом. Я до сих пор держу слово — в мире, где так много лжи, я обязана хоть с кем-то быть честной.

Раз в год все нью-йоркские адвокаты тратят баснословные деньги на званый ужин в ресторане отеля «Плаза» и делают это неспроста — связи очень важны, порой важнее денег. В огромном зале — блеск хрустала, кипенно-белые рубашки официантов, начищенные бокалы с искрящейся жидкостью, лодочки на шпильке, туго завязанные галстуки, разжижающие мозг беседы, выученная вежливость — они обрастают связями, предлагают свои услуги и хвастаются. В основном, конечно, хвастаются. И тот, кто выиграл наибольшее количество дел, а главное — получил крупные гонорары за последний год, становится звездой вечера, не успевая отбиваться от предложений о сотрудничестве. И так уж вышло, что этим кем-то оказался мой босс Филл Ричардс. Не без моей помощи, но, пока мои чеки обналичиваются, я покладиста и почти не принципиальна. А Филл — благородный человек, что редкость в юридической среде, и позволяет мне греться в лучах его славы.

Иногда я поражаюсь тому, как Филл сохранил собственное «я» в окружении маститых акул, ведь он не такой. Я уважаю его за это: Филл никогда не строит из себя того, кем не является. В отличие от меня. Однако он не знает, что я люблю его как коллегу и друга, и поэтому пытается завоевать мое расположение. Хотя, возможно, он знает об этом, но не в силах признать, а я не в силах разорвать порочный круг его попыток заполучить меня. Так и вижу нас, застрявших в этой машине до скончания веков: — *Стань моей.* — *Не стану.*

— Ты же знаешь, я не люблю приемы. Предпочитаю одиночество.

— А ты знаешь, что без тебя не обошлось бы.

— Да брось, никто бы и не заметил.

— Флоренс, ты не просто мой адвокат, ты .. — Он замолкает, ищет правильное слово, которое не спугнуло бы меня. Жаль, он не подозревает, что дело вовсе не в словах. — Ты моя правая рука, и я хочу, чтобы люди знали об этом. Ты не всегда будешь просто адвокатом, если так пойдет дальше, к тридцати ты станешь партнером.

Он накрывает мою руку своей. Я натянута улыбаюсь, и сердце ухает в желудок — это катастрофа, код «Красный» — самое время сматывать удочки.

— Давай прокатимся куда-нибудь? Еще не поздно, к тому же сегодня пятница.

— Знаешь, это предложение звучит очень двусмысленно, учитывая, что ты сказал о моем потенциальном партнерстве.

Он теряется, убирает руку. Будь я прокурором, он проиграл бы дело.

— Нет, — морщится он, стукнув по рулю, — я не имел в виду ничего такого. Флоренс ..

— Я знаю, — я дотрагиваюсь до его плеча. Порой он становится беззащитным, как пятилетний мальчишка, так и хочется утешить его, купив сладкую вату и билет на лошадок. — Я тебя знаю, Филл. Не переживай.

— Ты подумала .. ты решила, что я предлагаю тебе повышение взамен на ..

— Нет, про тебя я никогда так не подумала бы. Мы работаем вместе последние два года, так что да, я знаю вас, мистер Ричардс.

— Не надо, не называй меня так. Я же не старик.

— Странно, — хмыкаю я, — а мне казалось, тебе за семьдесят.

Он усмехается.

— Мне тридцать пять, мисс Вёрстайл, и вам это как никому известно.

— Да, а еще мне известно, что ты не стал бы принуждать к тому, чего мне не хочется, взамен на партнерство в юри-

дической фирме. Это мог бы сделать более беспринципный мужчина, беспринципный начальник, но ты будешь честен, несмотря на то что ты лучший адвокат на Манхэттене.

Он сглатывает, сжимая руль сильнее.

— Я перехожу черту, да?

— Иногда.

— Прости. Не хочу становиться сумасшедшим боссом.

— Ты и так сумасшедший босс, но мне это нравится, — произношу я намного более двусмысленно, чем хотелось бы.

Филл берет мою руку и едва уловимо целует тыльную сторону ладони. Невинный, почти невесомый поцелуй, но я покрываюсь мурашками. Прикосновения. Другого мужчины. Это неприятно. Я не хочу все усложнять. Он отпускает руку, несколько секунд мы сидим в тишине салона, как подростки на первом свидании. Тоскливые струйки бьют по лобовому стеклу.

— Я отправил тебе дело Стэнтона, — его тон резко меняется: деловой, важный, безапелляционный. Босс в здании. Меня это устраивает. — Он хочет, чтобы вопрос решился как можно скорее, поэтому мы договорились о встрече на завтра. Надо, чтобы ты тоже присутствовала. Изучи материалы — нам не помешает твой взгляд.

— Стэнтон? Тот сальный лысый мужик?

— Этот сальный лысый мужик не лучший человек на свете, но он знакомый моего брата, я не могу отказаться.

— Хорошо, мистер Ричардс. Поможем очередному мерзавцу избежать наказания.

«Это работа. Это моя работа», — повторяю про себя, как мантру, растягивая рот в улыбке.

— До завтра, Филл. — Я открываю дверцу машины, вешая ремешок сумочки на плечо.

— До свидания, Флоренс.

Семену на шпильках к подъезду, новые туфли натерли моль на пятке. Обернувшись у двери, машу Филлу, чтобы сгладить неловкость, и он отвечает тем же, словно папа, прово-

жающий дочь в школу, и я люблю его — как отца, как брата, которого у меня никогда не было и о котором я не просила, — надеюсь, он не решил, будто я смущена его вниманием. Я не смущена — я напугана.

В университете я ни с кем не встречалась — едва хватало времени на сон. После выпуска с головой окунулась в работу. Когда напряжение текло из ушей тонкой струйкой, я позволяла себе встречи на одну ночь. Но только на одну, только в определенные дни и только на моих условиях. Никаких имен, пустых обещаний, задушевных разговоров. Больше я не позволяю себе и этого. Попытки мужчин привлечь мое внимание до крайности бесят и заканчиваются крахом. Если я хоть на минуту даю слабину, они пытаются забраться под броню, найти в ней трещины, обнажить душу, залезть под кожу, а я не намерена никого впускать — там и так достаточно тесно.

Нажимаю на кнопку и выдыхаю, когда слышу приглушенное дребезжание лифта, собирающегося с рывком остановиться. Еще минута — и я дома. По меркам Нью-Йорка квартирка небольшая и скромная, по моим же — уютная берлога, к которой за последние два года я знатно привыкла. Привыкла к высоким потолкам, стенам из красного кирпича, темной мебели, к отсутствию картин, точнее, к их расположению: на полу, изображением к стене — заранее ограждаю себя от того, что может в них привидеться, если охватит сонный паралич. Я привыкла к скрипу половиц и холодильнику, у которого через раз закрывается дверца, даже к окнам в гостиной, выходящим на север, из-за чего в квартире постоянно темно. Я привыкла. . .

Последние три года я работала как проклятая. Сначала в фирме попроще, где приходилось надирать задницу, чтобы вырвать дела поинтереснее и посолиднее. Позже — в Нью-Йорке. Первые шесть месяцев после университета я пахла без выходных и перерывов, потеряла пятнадцать фунтов¹ и половину волос, а вместо них приобрела обсессивно-ком-

¹ 6,8 кг.

пульсивное расстройство, панические атаки и паранойю, но выиграла больше дел, чем мои старшие коллеги за все годы адвокатской практики. В Нью-Йорке жизнь начала налаживаться. Филл верит в работу, настроенную на качество, а не на количество, и в то, что работники могут приносить деньги, только когда у них все в порядке со здоровьем и психикой, поэтому включает в страховку обязательные медосмотры и походы к психологу.

Но даже в «Ричардс & Спенсер» я работаю по двенадцать часов в сутки — привыкла много работать, мне это нужно — застой губителен. Филлу не нравится, когда я загоняю себя, но он уважает меня, потому что в этом мы похожи: два циника-трудоголика, которые понимают слишком много о мире, чтобы позволить себе передышку. Да, я кручусь как белка в колесе, но так было всегда, однако теперь я знаю, ради чего страдаю. Я красивая, почти двадцатипятилетняя женщина с престижной работой, приличной зарплатой и регулярным циклом. У меня все в порядке. . . на первый взгляд в порядке.

Скидываю туфли в гостиной, прошу Сири включить музыку — она выбирает Лесли Гор «Я не твоя собственность» — и плетусь на кухню. Мозоли на пятке и большом пальце пощипывают и пульсируют. Уверена, туфли придумал какой-то бесноватый ученый, целью которого было искалечить ноги женщин — иной цели я не вижу, однако каждый день надеваю туфли на каблуках и юбку-карандаш, чтобы не выделяться. На ходу выпускаю шпильки из волос, и корни отвечают благодарной болью. Открываю дверцу холодильника — содержимое боковой полки отзывается звонким лязгом. Никаких вин и шампанского — пусть их оставят себе павлины из «Плазы», но помимо этого у меня есть все: виски, ром, джин, текила, водка, абсент, бренди. Говорю же, у меня все в порядке. Именно поэтому пятничный вечер я проведу в компании алкоголя с высоким процентом содержания спирта, а не с мужчиной, который проявляет ко мне неподдельный интерес.

Откручиваю крышку с бутылки водки и наливаю в стакан, слушая приятное бульканье.

Говорят, пить в одиночестве — первый признак алкоголизма.

Но я не алкоголик.

Второй — отрицать свой алкоголизм.

Порой я смотрю на себя со стороны и становлюсь себе противна. До зуда, до тошноты. Выдернуть бы себя из себя. И поместить внутрь что-то новое. Удобоваримое и простое. Наверное, это третий признак, но о нем я никогда не слышала.

Когда я начинала адвокатскую практику, после ночи за очередным делом я выпивала немного водки или виски вместо теплого молока, чтобы поскорее уснуть и провалиться в бездну, где нет ни бумаг, ни прокуроров, ни свидетелей, ни судей. С тех пор так и повелось. . . Забвение помогает сохранить здравый рассудок и стать той, кем должна быть. Начинающие адвокаты — пушечное мясо: клиенты, прокуроры, судьи — все видят молоко, не обсохшее у них на губах. Если не получится избавиться от этого на первых порах — тебе конец. Публичные выступления, встречи с клиентами, грязные подробности чужой жизни похоронят все, над чем ты работал столько лет. Мой секрет в том, что я ничего не боюсь и поэтому всегда выигрываю — мне нечего терять. Внутри я мертва.

Раньше Сид приходил ко мне в снах, но в последний раз это было так давно, что уже не вспомнить. Вместе с ним я погружалась в другой мир, оживала. Просыпаясь, окуналась в реальность, а потом снова впадала в забытие. Сид помогал мне справляться, но я больше не вижу его ни в снах, ни в толпе — только в воспоминаниях, которые потускнели и померкли, как бы сильно я ни старалась их удержать. Думаю, он ушел намеренно. Я тоже не захотела бы видеть себя настоящую.

Сид верил, что я стану хорошим человеком, что буду защищать униженных и обездоленных, тех, у кого нет таланта к четкому построению сложных предложений. Я сама верила, что изменю этот жестокий, несправедливый, грязный, черствый мир — духовку Сильвии Плат. В восемнадцать это ка-

залось реальным. Но рано или поздно иллюзии терпят крах. Мои потерпели. Розовые очки разбились стеклами внутрь. Защищая бедных, не оплатишь счета, не заполнишь холодильник выпивкой и не купишь туфли на каблуках, чтобы не выделяться среди коллег, поэтому я работаю с теми, у кого карманы полны франклинами¹, — заключаю сделку с совестью. Я не спрашиваю, виноваты ли они. Так или иначе я обязана их защищать. Лучше не знать.

Работа адвокатом превратила меня в человека без совести. Я своего рода священник, день за днем провожу исповеди, выдаю индульгенции — прощаю людей за деньги. Я обеляю их, использую мозги и подвешенный язык, чтобы представить информацию в том свете, в котором нужно мне и моему клиенту. Я не стремлюсь к геройству. Я не могу себе этого позволить. *Я не герой, Сид. У тебя всегда была слишком светлая голова и слишком большое сердце.* Но у меня их нет. Я безжалостна. Ненавижу ли я себя за это? Да. Продолжу ли я это делать? Да. Ради Молли, которой я обеспечу лучшую жизнь. Она все, что у меня осталось. Она — мое все. *Ты знаешь это.*

Джейн больше не звонит мне. Теперь в Корке напряженка с телефонной связью — Доктор сдержал обещание и оградил горожан от внешнего мира, поэтому Джейн вынуждена писать письма, как когда-то делал Патрик, но они не отражают полную картину происходящего. Джейн не умеет лгать — я чувствую, что она врет, даже за мили от меня. С каждым годом она пишет все реже, письма становятся все короче. Она запрещает приезжать, а я не спешу в Корк — единственное место в этом мире, которое может окончательно раздавить меня.

Делаю глоток, на этот раз прямоком из горла, и ложусь на кровать. Бретельки платья неприятно впиваются в плечи. Телефон вибрирует в сумочке, которую я кинула на пол в гостиной. Это Филл. Он печется обо мне, потому что не знает, что я

¹ Бенджамин Франклин изображен на стодолларовой банкноте США.

пережила. Думает, я твердая снаружи, но мягкая внутри. Это не так. На вид я очень милая, но внутри стальной стержень — он приносит боль даже мне. Вибрация утихает. Стоит отдать Филлу должное — он пытается.

Филл — хороший человек и замечательный мужчина, а такие в наше время, а тем более в Нью-Йорке, встречаются нечасто. Он начальник и мог бы добиться меня деньгами, шантажом или властью, но никогда не пытался. Филл хорош собой и умен — мужчина мечты... для женщины, у которой все в порядке с головой. И, очевидно, это не я.

Сев в кровати, я достаю из тумбочки прикроватного столика перочинный ножик, поднимаю ткань платья и режу внутреннюю сторону бедра. После нескольких бокалов шампанского и стаканов водки способность чувствовать боль притупляется — врезаюсь сильнее, пытаюсь забраться под кожу, вырвать то, что не дает заснуть. Кровь струйкой течет на белую простыню — такая яркая, жидкая, словно разбавленная водой. Заливаю порез водкой.

Выпиваю еще. И еще.

Закончив бутылку, кое-как стягиваю с себя платье и заворачиваюсь в одеяло.

Вдалеке играет Сири — *я не боюсь Бога, я боюсь людей*¹ — я не могу оставаться в тишине.

Проваливаюсь в сон без сновидений.

2

Сонный паралич. В последнее время приступы случаются все чаще. Меня давно не пугают темные силуэты, стоящие в дверных проемах или возле окна, — в ужас приводит неспособность пошевелиться. Оцепенение. Ступор. Немота.

¹ Строчка из песни Savages (с англ.: «Дикари») Marina And The Diamonds.

Каждый раз я верю в то, что умираю. Мое тело боится этого, душа — нет.

Я стараюсь не думать о том, что творится со мной по ночам. Выключаю будильник, вскакиваю с кровати, принимаю душ, закидываю в себя завтрак — и все: новый день, новая я. Долгие размышления убивают. Сажусь за рабочий стол — на ближайшие часы я другой человек: проверяю почту, отвечаю на письма, заношу в календарь встречи на неделю. Материалы дела Стэнтонна оставляю напоследок. Этот сальный мужик занимается фотосессиями пикантного характера и производством порнофильмов. В одном из них он снял несовершеннолетнюю, и теперь ее родители требуют изъять фильм из продажи и возместить материальный ущерб. Провести утро субботы за просмотром порно — не то, чего мне хотелось бы, но я вынуждена изучить материалы. Видео длится тридцать пять минут. Уже на третьей ловлю себя на мысли, что думаю о чем угодно, но не о деле. Секс мне неинтересен — ни чужой, ни собственный. Бездумный трах. Оболочки без души. Раньше срабатывало. Но теперь мне противна даже мысль, что какой-то мужчина заполучит меня, коснется, поцелует... Невыносимо жить в мире, где этим мужчиной может быть кто угодно, кроме Сида Арго.

Я досматриваю видео на быстрой перемотке.

«Надеюсь, сторона обвинения прищучит его», — говорит моя совесть.

«Я должна выиграть это дело!» — парирует разум.

Встреча со Стэнтонном назначена на одиннадцать в офисе «Ричардс & Спенсер». В оставшееся время я могла бы написать письмо Джейн, как раньше делала по выходным, но не знаю, читает ли она их, а главное — получает ли, ответов давно не приходило. Достаяю из-под кровати старую коробку, где храню все реликвии: красный блокнот Сида Арго и его записки, дневник матери и письма, которые когда-либо получала из Корка. Некоторые из них от Джейн, но большинство от Питера Арго — самая прочная ниточка с Корком.

Сегодня на уроке мистера Прикли мы должны были обсуждать «Повелителя мух», но никто не прочитал, и он разочлился, говорил, что этак из нас ничего путного не выйдет. Провел беседу о важности чтения и... рифексии. Заставил написать сочинение на свободную тему. Терпеть не могу эти свободные темы. У меня много мыслей, но, когда кто-то просит их написать, в голове пустота.

За книжку Прикли влетело. Он весь день ходил как в воду опущенный, а через пару дней все «Повелители мух» исчезли из библиотеки. Странно, правда? Как бы с Прикли не произошло то же, что с Саймоном. Помнишь, что сделали с ним в книге?

Сегодня отец убрал баскетбольное кольцо с заднего двора. Взял мяч и унес куда-то. Бродит по дому черной тучей. Не знаю, что на него нашло. Я ничего не сказал ему. Слишком он был грозный. Он не в себе. Боготворит Доктора, потому что тот дает ему работу, а это все, что ему нужно, — работать. Мы для него совсем чужие.

В последнее время Прикли выглядит как пес миссис Пибоди перед смертью. Глаза несчастные и усталые. Тритон умер месяц назад, а я никак не могу забыть о нем. Поводок висит у двери. Каждый вечер хватаю его, иду к дому Пибоди и только потом вспоминаю... Я закопал Тритона в лесу и сделал крест из старых досок. Преподобный сказал, что я поступил правильно, хоть в чем-то я с ним согласен, но он мне не нравится, слишком уж важный и строит из себя святошу (постоянно носит эту свою рубашку с воротничком) — смотреть тошно. Отец ворчал, что я зря трачу дерево. А как иначе? Не оставлять же его на съедение мухам. К тому же чего-чего, а дерева в Корке с избытком.

Смерть Тритона расстроила Молли. Она теперь не выпускает Августа из рук. Любит животных. Кажется, больше, чем людей. Я ее понимаю.

После смерти Тритона мне часто снится сон. Я в темном и тихом лесу. Иду, раздвигая ветки перед собой, выхожу на поляну, где в землю воткнута палка, а на нее насажена голова Прикли. И у него струйка крови течет изо рта. Как думаешь, к чему это?

Мне не хочется делать ему крест.

Отец позволил вынести из дома все книги. Особенно сильно пострадала комната Сида — теперь она совсем опустела. Я хотела прочитать «Коллекционера». Ты знала, что это его любимая книга? Я спросил у Прикли, и он дал мне свой экземпляр, но велел никому не говорить. Будто я имею привычку болтать. И почему Сид любил эту книгу? Она жуткая. Но я понимаю Калибана. Иногда ты любишь кого-то так сильно, что больно сдерживаться.

Не беспокойся о Молли. Я забочусь о ней. Не считая Ленни, она мой лучший друг. Конечно, она девчонка, и порой я не понимаю ее. Почему, например, она обижается, когда я говорю, что она не может пойти со мной и Ленни на озеро? Иногда она для меня полная загадка. Ты тоже. Но ты же мой друг. Мы друзья? Флоренс, я очень хочу, чтобы мы были друзьями. Думаю, если бы ты была рядом, ты бы точно стала моим лучшим другом.

Пит не знает, но эти письма много для меня значат. Он не представляет, сколько раз я их перечитывала, поэтому знаю, что его любимый цвет — зеленый, праздник — Рождество, а книга — «Робинзон Крузо».

Однажды письма перестали приходить: резко и беспричинно, словно кто-то перекрыл воду в кране. Долгое время я писала ему с просьбой объяснить, что пошло не так и почему он больше не отвечает. Допытывалась у Джейн, все ли в порядке у Арго. Она говорила, что да, и у меня не было причин ей не верить — я оставила попытки. С тех пор прошло два года,

и я больше не знаю, что переживает и чувствует Питер Арго. Когда он прекратил общение, ему было пятнадцать. Возможно, он перестал во мне нуждаться, но я — нет, поэтому мой номер, тот самый, который я написала ему на визитке, все еще действителен. Я жду звонка, пусть и не надеюсь, что он в самом деле позвонит.

Я твой друг, Питер. Я жду. И буду ждать, сколько потребуется.

3

— Среди многочисленных талантов Стэнтона нет способности располагать к себе людей, но давай без речей о недобросовестности продюсеров в порнобизнесе, — просит Филл, встречая меня в коридоре офиса. Мы идем в зал для переговоров.

— И не думала.

— Посмотрела материалы?

— Да, особенно то получасовое видео.

— И как?

— Таланта к режиссуре у него тоже нет.

Филл подавляет улыбку и открывает передо мной стеклянную дверь. Стеклопакетные офисы для встреч с клиентами не самое удачное изобретение человечества, но, если приходится иметь дело с такими, как Стэнтон, это лучшее решение. Он опаздывает на встречу — мы вынуждены ждать — появляется на пятнадцать минут позже, заходит в зал как голливудская звезда, ожидая фанфар, красной дорожки и аплодисментов. Многие из тех, кто способен позволить себе услуги таких адвокатов, как Филл, ведут себя как последние мудаки. Но я выработала привычку, поэтому даже не приходится ломать себе хребет, чтобы пожать ему руку. Он плюхается в кресло, соединяя руки в замок на животе. На лице играет легкая улыбка — он знает, что ему все сойдет с рук, и наша работа — подкреплять его уверенность, мы должны оставаться убедительными

и бесстрастными, как бы сильно ни хотелось принять душ после рукопожатия.

Филл открывает папку с материалами и пробегает глазами по строчкам.

— Ты знал, что ей нет восемнадцати?

— Нет, она сказала, что ей двадцать. К тому же подписала контракт, я и не предполагал, что могут возникнуть сложности.

Девушка солгала, но это не имеет значения: Стэнтон настолько мерзкий тип, что присяжные и прокурор ухватятся за любую лазейку, чтобы его прижать.

— Почему фильм снимали в Лос-Анджелесе?

— Я все свои фильмы снимаю в Лос-Анджелесе. Мне нравятся виды, — он подмигивает мне. Масляный взгляд, плотоядная ухмылка. Очередная шлюшка с дипломом, думает он. Один из тех, для кого трах — смысл жизни.

— Девушка на стороне родителей? — спрашиваю я. Профессиональная глухота. Скоро я потону в безразличии.

— Сначала она не хотела подавать иск, ее все устраивало, но потом родители и адвокат наплели ей, что это может сыграть с ней злую шутку.

— Значит, договориться не выйдет, — продолжает Филл, откидываясь на спинку кресла.

— Они настроены серьезно и думают, что имеют на это право. Но злодей не я — это она солгала мне. Я законопослушный гражданин и хочу, чтобы вы выиграли это дело, — он стучит пальцем по столу. — Более того, хочу, чтобы они заплатили за моральный ущерб: за обман и за трату моего времени.

— Джек, ты же понимаешь, что происходит? Ты принудил к сексуальному контакту, который снял на камеру, несовершеннолетнюю. Это очень серьезно.

— Говорю же, Филл, я не знал.

— Почему бы вам просто не удалить это видео? — спрашиваю я.

— И не подумаю. Я пострадавшее лицо и не намерен терять деньги. Повторю еще раз: хочу, чтобы они заплатили. Выиграйте это дело, Филл. Я слышал, для тебя нет ничего невозможного.

— Значит, примирение не вариант?

— Только если будет включать извинения и моральную компенсацию.

— Хорошо, свяжемся с родителями и оповестим о наших условиях. Но дело нечистое. Ты должен быть готов к проигрышу.

— Я никогда не проигрываю.

Филл провожает Стэнтона, возвращается в кабинет и садится в кресло — снимает маску профессионала и глубоко задумывается.

— Прости. Он... такой.

Бедный Филл. Скабрзностью меня не пронять, а вот заботой — да. Не нужно быть со мной джентльменом. Пожалуйста.

— Нам нужна лазейка, — выдает он уже адвокатским тоном.

— Может, ну его? Никто не осудит, если мы проиграем это дело.

— Мисс Вёрстайл..

— Что, мистер Ричардс?

Он вздыхает, кидая ручку на стол.

— Ты сам сказал: он принудил к сексу несовершеннолетнюю и снял это на камеру. Что, если бы она была твоей дочерью или сестрой?

Он сжимает переносицу, на время прикрывая глаза.

— Мораль здесь ни при чем, Флоренс. Это наша работа. Она такая же, как и все другие, ты сама знаешь. — Но она не такая же, и мы оба понимаем это.

Я покидаю кабинет, сбегая в уборную, чтобы ополоснуть лицо — из зеркала смотрит бледное подобие меня прежней. Сделка с совестью. Уже несколько лет я верна своим демонам. Я верна им слишком долго, чтобы переживать, но пере-

живаю. Что, если бы на месте этой девушки оказалась Молли? Сердце обливается кровью, когда я думаю о ней. Я прикусываю щеку. То, что я хочу, и то, что мне надо, не одно и то же, но я должна сделать то, что надо, чтобы получить то, что хочу. Порой мир слишком сложен. Жаль, я не залила флягу и не взяла с собой. . .

Я возвращаюсь в кабинет и усаживаюсь в кресло по правую сторону от Филла, с головой погруженного в материалы дела. Лазейки есть всегда. Вопрос только в том, получится ли их найти. Я подвигаю к себе ноутбук и включаю видео, убавляя звук, — на этот раз смотрю его без перемотки — кровать королевского размера, шелковое постельное белье (как-то я уснула на таком в отеле — одна из глупых встреч по пьяни — и проснулась на полу), спинка, обитая бархатом, прикроватные столики с изогнутыми ножками, часы в резном обрамлении на стене: одиннадцать ноль пять вечера.

Я хватаю папку и пролистываю до биографии девушки.

— Что-то нашла? — интересуется Филл.

Я буду ненавидеть себя за это до конца жизни.

— Контракт был подписан перед съемками, верно?

— Да.

— Они начали снимать двадцать четвертого апреля в одиннадцать вечера. Время видно на часах, которые попали в кадр.

Морщины на напряженном лице Филла разглаживаются.

— Я знаю, как выиграть, — говорю я, закрывая ноутбук.

— И? — он откидывается на спинку кресла, держа ручку у губ, глаза блестят в предвкушении.

— И я расскажу тебе. Но у меня есть условие.

— Какое?

— Я не стану представлять Стэнтон в суде.

Он обдумывает предложение и кивает. Я протягиваю ему папку, ткнув в строчку, где указана дата рождения.

— Это было в Лос-Анджелесе, а девушка родилась в Нью-Йорке. К тому времени здесь уже наступило двадцать пятое апреля. Значит, формально она имела право подписать кон-

тракт без разрешения родителей, а так как Стэнтон не нарушал условия, контракт действителен.

Он еще раз изучает дело.

— Да, Флоренс, это может сработать. Сильный адвокат это пропихнет.

— Я тоже так думаю.

— И у нас такой есть. — От взгляда, которым он меня награждает, становится неуютно. Неприкрытое восхищение.

— Я готова копаться в бумажках, пересматривать это чертово видео хоть сотню раз, но не выступать в суде.

— Но тебе удастся выиграть.

— Я могу защищать кого угодно, но не тех, кто связан с преступлениями против несовершеннолетних. У меня есть сестра.

— Знаю.

— И таково было мое условие. Ты согласился.

— Знаю. Но все же подумай, пока не поздно, ладно?

Филл не сдастся. Пройдет пара дней, сумма в чеке вырастет, и я соглашусь. Мы оба знаем это. И от этого мне так плохо, что я начинаю задыхаться. Мозг закипает. В спешке — запинки, ложь, оправдания, неловкая улыбка — прощаюсь с ним и выбегаю из офиса, мчусь вдоль вывесок кафе и магазинов, смешиваюсь с толпой в глупой надежде скрыться в ней.

Измени этот пакостный, грязный, несправедливый мир к лучшему. Тебе это под силу. Мы оба знаем, что под силу.

Дома я сбрасываю туфли и достаю из холодильника бутылку виски, вливаю в себя едва ли не треть и падаю на диван, невидящим взглядом смотря в пространство. *Что я делаю? Кто я? Кто я?* Алкоголь притупляет круговерть чувств, смазывает их, как свет кадр на пленке, и я, растянувшись среди декоративных подушек, проваливаюсь в дрему — меня едва не засасывает в складки, но вибрация телефона, спрятанного в ящике стола, выводит из забытья. Вскакиваю как ужаленная и цепенею. Телефон — я заряжаю его каждые три дня, все еще жду чего-то — продолжает вибрировать, бьется, слов-

но сердце человека, который давно умер. Рывком открываю ящик, на экране высвечивается незнакомый номер, отчего по спине пробегает холодок. Принимаю звонок и прижимаю телефон к уху, до боли закусывая подушечку большого пальца. Сердце бьется в горле, кровь стучит в ушах. Это ненормально. Ненормально надеяться на что-то так долго.

— Флоренс Вёрстайл? — спрашивает мужской голос.

Мне часто звонят незнакомцы — я адвокат, но не на этот номер. Натяжение немного ослабевает, хотя и не отпускает до конца.

— С кем я говорю?

— Меня зовут Кеннел О'Донахью, я священник церкви Святого Евстафия.

Струны внутри натягиваются до предела и обрываются. Я слышала о нем, точнее, читала в письмах Питера и Джейн, но ничего толком не знаю — пыталась найти информацию и о Докторе, и о новом преподобном в интернете, но каждый раз натыкалась на целое ничего, словно Бог, судьба или иные высшие силы намеренно делали все, чтобы скрыть их секреты. Взяв себя в руки, беззвучно выдыхаю.

— Вы слишком молоды, чтобы так гробить свою жизнь. — Судебные процессы научили превращать голос в сталь, в то время как внутри все плавится от ужаса.

— Меня отправили в приход Корка после смерти преподобного Патрика. Насколько мне известно, вы хорошо знали Патрика.

— Что вам нужно?

Он на миг затихает. Я сглатываю.

— Флоренс, я вам не враг, — говорит он ровным, спокойным тоном.

Но что странно: мое имя звучит из его уст так, будто он произносит его не впервые — ему известно больше, чем мне, — фигуры не на моей стороне. За столько лет я научилась притворяться: подавлять страх, ненависть и презрение к мошенникам, насильникам и даже убийцам, но, когда речь заходит

о Корке, ничего не помогает, с меня сдирают кожу — я маленькая и беззащитная, но я должна держать оборону.

— Я не спешила бы с выводами, мистер О'Донахью. У вас есть доступ к телефону, чем не может похвастаться никто из горожан. Вы не последний человек в городе.

— Я не в Корке. Звоню из телефона-автомата.

Я молчу, позволяя ему продолжить.

— Звоню по просьбе вашей тети. Миссис Вёрстайл серьезно больна, она прикована к постели. Боюсь, осталось совсем недолго.

— Почему вы не позвонили раньше?

— Я лишь выполняю ее просьбу, мисс Вёрстайл. Джейн хочет вас видеть. Но положение плачевное.

Я крепко зажмуриваюсь и ударяю себя по лбу. Черт! Черт! Черт! Не стоило доверять человеку, который так сильно любит меня. Этим она губит себя. Губит Молли.

— Поспешите, Флоренс, если хотите застать ее последний вздох.

Он кладет трубку одним резким, отточенным движением, мол, мне плевать, приедешь ли ты, свою миссию я выполнил. Я выныриваю из-под воды, снова слышу звуки квартиры и города. Мне нужно больше информации! Нужно ли?..

Кидаю телефон на стол. Волна страха, вины, гнева и обиды вырывается наружу, и я с криком сметаю ноутбук и бумаги на пол. Кружу по комнате, как загнанный зверь, запуская руки в волосы и кусая губы — они сухие, и я чувствую металлический привкус. Ты же не глупа, Вёрстайл, так почему не сложила два плюс два раньше?

Меня бросает из стороны в сторону, точно моряка на корабле в шторм, мысли бегут наперегонки, и я лечу вниз, не в силах остановить падение. Я знала, что рано или поздно придется вернуться, но не ожидала, что это случится сегодня. Сейчас. В мареве замешательства и испуга бешено бью по клавиатуре, снова пытаюсь найти информацию о преподобном в интернете — и снова пустота. Ноль без палочки. И почему

священники не ведут странички в соцсетях? Как и прежде, я нахожу только новости о стрельбе («Старшеклассник устроил резню в школе», «Очередная школьная бойня: более десятка пострадавших», «Беспощадная расправа в старшей школе»), словно после смерти Патрика Корк перестал существовать.

Да, я знала, что так будет, и все эти годы лишь ждала — ждала знака, и он снизошел до меня в виде нового преподобного. В ознобе я сворачиваюсь калачиком на диване, чтобы стать меньше, исчезнуть, испариться. Тело бьет крупной дрожью, во рту пересыхает, грудь сдавливает, но сердце продолжает бешено колотиться, грозясь разорвать грудную клетку. Упираюсь подбородком в колени, закрываю глаза в наивной попытке спрятаться от мира под краснотой век.

За три года адвокатской практики я повидала многое: жестоких преступников, предвзятых прокуроров и несправедливых судей; обшарпанные стены тюремных комнат для встреч и камеры, пропахшие потом и мочой. Но это ничто по сравнению с Корком. Будь я умнее, покончила бы с собой. Если бы не Молли, я давно покончила бы с собой. . .

Когда паническая атака отпускает, я хватаю с пола бутылку виски, отпиваю, а после набираю Филла.

Я возвращаюсь в место из собственных кошмаров спустя шесть лет.

Я возвращаюсь в Корк.

4

Корк встречает меня промозглым ветром и противной моросью — у него нет иных способов сказать, что мне здесь не рады. Я выучила его язык, но всегда иду наперекор. Когда-нибудь это погубит меня.

Ранее пустующие поля, тянущиеся на мили вдаль, теперь засеяны пшеницей. Яркими пятнами по полям разбросаны маленькие сарайчики — я почти ощущаю запах дерева, из которого они построены, и сена, которое в них хранится. Их не

было раньше. Глушу мотор и выхожу из машины. Тишь и простор. Обвожу глазами море пшеницы, волнами уходящее до самого горизонта, — в городе, среди серости бетона и стекла, такого не увидишь, — я словно приземлилась на другой планете. Вдалеке мычат коровы. Свежесть дождя навечно смешалась с дурманящим запахом навоза.

Центр города, если в отношении Корка можно так сказать, окончательно превратился в призрак, тень себя прежнего, и напоминает финальные кадры фантастического фильма, где все население в одночасье подкосил опасный вирус. Руки невольно сжимаются на руле — я замедляю скорость. Кто знает, какие монстры могут выскочить из-за угла.

Окна магазинов и единственного кафе под названием «Пирожки» плотно заколочены, но здания не заброшены. Заглядываю внутрь сквозь щели в досках — судя по всему, эти помещения используют для хранения хозяйственного инвентаря и старой мебели. Вывески и другие знаки, свидетельствовавшие о наличии былой жизни, бесследно исчезли. Где-то вдали ветер раскачивает железные ставни — скрежет постепенно утихает, но, когда ветер усиливается, звук приближается, чтобы поглотить меня.

Дома, ранее отгороженные друг от друга заборами, словно стали ближе, вместе скрываются за густой кроной деревьев. Ветер колышет бельевые веревки и треплет заботливо подстриженные кусты. Жалобно скрипит флюгер. Дома потускнели, будто на них наложили неудачные фильтры, фасады покрылись заметными трещинами. Опоры линий электропередачи остались как напоминание о прошлом — проводов на них нет — город обесточен. Раньше в вывеске «У Барри» не горело «у», теперь вывески нет вовсе. Интересно, что с ним случилось? Надеюсь, он жив..

Глушу мотор у дома с фиолетовой крышей. Все еще помню, как приехала сюда — семнадцатилетняя Фло Вёрстайл, — хотелось бы забыть. Прикрываю голову ветровкой — дождь усилился, забегаю на крыльцо.